



Елена
Чиждова

Премия
«Русский Букер»

Время женщин

Лучший роман
на русском языке 2009

Проза: женский род

Елена Семеновна Чижова

Время женщин (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=329202

Елена Чижова \ Время женщин: Астрель; Москва; 2010

ISBN 978-5-271-26989-9

Аннотация

Елена Чижова – коренная петербурженка, автор четырех романов, последний – «Время женщин» – был удостоен премии «РУССКИЙ БУКЕР». Судьба главной героини романа – жесткий парафраз на тему народного фильма «Москва слезам не верит». Тихую лимитчицу Антонину соблазняет питерский «стиляга», она рождает от него дочь и вскоре умирает, доверив девочку трем питерским старухам «из бывших», соседкам по коммунальной квартире, – Ариадне, Гликерии и Евдокии. О них, о «той» жизни – хрупкой, ушедшей, но удивительно настоящей – и ведет рассказ выросшая дочь героини, художница... В книгу также вошел роман «Крошки Цахес».

Содержание

Время женщин	4
I. Мать	6
II. Дочь	84
III. Мать	89
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Елена Чижова

Время женщин (сборник)

Время женщин

Моим бабушкам

Мое первое воспоминание: снег... Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать...

В детстве я не умела разговаривать. Мама водила по врачам, показывала разным специалистам, но все без толку: причины так и не нашли. Лет до семи я молчала, а потом заговорила, хоть сама этого не помню. Бабушки тоже не запомнили – даже самых первых слов. Конечно, я их спрашивала, а они отвечали, что я всегда все понимала и рисовала картинки – вот им и казалось, будто я с ними разговариваю. Привыкли отвечать за меня. Сами спросят, сами и ответят... Раньше мои картинки лежали в коробке. Жаль,

что они не сохранились: тогда я бы все вспомнила. А так не помню. Даже маминого лица.

Бабушка Гликерия говорила, что у нас была фотография, маленькая, на паспорт, а потом ее потеряли, когда заказывали портрет. Железный, для кладбища. Он тоже пропал. Может быть, отчим так и не собрался съездить, а Зинаида выбросила – как и мои картинки.

Я еще долго не любила зиму: тревожилась, когда падал снег. Думала о маме... Мне казалось, ей очень холодно – в летнем платье... Потом это прошло, но тревога осталась, словно в детстве, которое стерлось из памяти, было что-то страшное, о чем мне уже не узнать...

I. Мать

Лук крошу, а сама киваю: старухам виднее – пора так пора. А чего скажешь? Строгие. Где уж мне против них?..

Прежде-то нажилась в общежитии, в тесноте, да не в обиде – комната на восемь коек. А нынче – вольно... Спасибо месткомовским. Зоя Ивановна так и сказала: «Чего уж теперь... Разве дитё виновато? Родила так родила – обратно не пихнешь. У нас ведь как? Мать всему голова: и напоит, и накормит. Ну и что – без мужа? Нынче и таким помощь и почет. У Сытина, мастера с шестого, прибавление: двое у них теперь. Значит, отдельная двухкомнатная полагается. Вот и вселяйся на их место».

Девять с половиной метров – сама себе барыня. Вот бы мать-покойница хоть одним глазком...

Им-то чего: «Не ты первая, не ты последняя. И помни: ребеночек наш, заводской. Значит, общий. Для власти падчериц нету. Так что не сомневайся: ясли, сад, подрастет – лагерь. Да и ты, небось, не одна – в коллективе. А вот таишься зря. Не ветром же надуло. Таких кобелей, да мигом в ежовые рукавицы!»

Смолчала. Больше не спрашивали.

Думала, хорошо, что город. Вон их – ходят по улицам. Тыщи и тыщи.

Не то что деревня. Там бы прознали – все мужики напе-

речет...

Если б с завода, может бы, и открылась... Зоя Ивановна больно ласкова. А так – чего скажешь? Только имя и знаю. Ни адреса, ни фамилии...

Евдокия бровью повела:

– Масло постное кончается.

Гляжу, куда там... Кончилось. На самом дне остатки. Пьют они его, что ли? На той неделе брала.

– А лук-то?.. – оглядываюсь. – Обжарить ведь надо.

– Так ты, – учит, – на маргарине обжарь.

Сам красивый был, статный. А не поймешь его. Выражался чудно? – по-городскому.

«Вы, – обращается, – девушка, давно ждете?» Кивнула, а сама молчу: неловко с незнакомым. Вроде и вежливый, а все равно. Постоял-постоял, снова спрашивает: «Это вы к Деду Морозу собрались?»

«Как это?» – даже удивилась.

«А мешок у вас, – кивает, – вместительный. Для подарков?» Смешно мне стало. «Какие, – улыбаюсь, – подарки! На рынок, за картошкой». Тут он брови поднял: «На рынок? – переспрашивает. – С мешком?»

«Так, – объясняю ему, – воскресенье. На всю комнату взять». – «На комнату? – головой качает. – А как же – на прихожую? Голодной останется? Или комната у вас добрая, поделится со всеми?..»

Тыльной стороной смахнула луковые слезки. Улыбнулась тайком.

Мешаю, мешаю... Все ж таки плохо на маргарине. Брызгает во все стороны. Руку всю ошпарила. Евдокия и тутставляет:

– Мылом хозяйственным помажь.

Постоял-постоял, к фонарю пошел. А ноги длинные, как у журавля. Ходит, притопывает. На часы глянул: «И сколько ж нам ждать?» Терпения у него нету, замерз, видно. И ботинки тоненькие, на рыбьем меху. «Да скоро теперь, – утешаю. – Я вон давно стою...»

«Не-ет. Гиблое это дело, – оглядывается. – Стоим-стоим, а народу никого». – «Так спят же». – «Спят? – переспрашивает. – Правильно. Вот и мне бы так, дураку...»

Да уж, думаю. И лицо какое-то мятое. Видать, гуляли всю ночь. А перегаром не несет. Наши мужики как с вечера выпьют, прям до обеда перегар.

«А вы, – с духом собралась, – рано-то... Тоже, видать, по делу?» – «А как же... – глаз прищурил. – Проснулся и – на рынок. За картошкой». – «Ой!» – обрадовалась. А он оглядел меня и говорит: «Удивляюсь я, девушка. Вы что ж это, в Америке учились?»

«Почему, – напугалась, – в Америке? В деревне. Малые Половцы?». Брови свел: «В нашей, – уточняет, – в советской? А главного не помните: куда коллектив, туда и я».

«Какой коллектив?» – совсем сбилась. «А мы с вами? –

смеется. – Граждане, собравшиеся на остановке... В сложных обстоятельствах предлагаю взять такси...»

В гости к себе привел. Квартира большая, просторная.
«А где же все?» – спрашиваю. «А все, – говорит, – на даче. В смысле, предки».

Как же это, думаю, на даче? Зима ведь...
«А где же, – оглядываюсь, – соседи?» – «Увы, – руками развел. – Этого добра не держим. Живем, как при коммунизме».

Зашла. И правда. Богато живут. Стол письменный, книжки по стенкам расставлены. Над диваном мужик бородатый. Кофта на нем вязаная. Висит в рамке. «А это кто ж?» – «Да, – рукой махнул, – есть тут один». Может, догадываюсь, тоже из предков. Под бородой разве поймешь...

Посидели, кофе сварил. Чашки тонкие, белые, прямо пить страшно. Не дай бог ручка отломится. «Сахар, – подвигает, – клади». Глотнула, прямо сморщилась. Две ложечки положила, а все равно горько.

«Черный кофе, – говорит, – на любителя. Распробовать надо. А ты не горюй, привыкнешь». Глоточек отпил, отставил. Сам-то, видать, не больно привык...

И вина ведь не пили, а я будто пьяная. Голос его слушаю. Не знаю, как и случилось... Видно, затмение на меня нашло...

Ящик дернула, нащупала терку. Теперь морковину потереть... Лук шкварчит, шкварчит... Выключила конфорку. А рука-то ноет. Воду отвернула – сунула под кран...

На неделе в кино позвал. А я и рада. Девкам нашим завидовала: парочками гуляют. «Ко мне, – объясняет, – нельзя. Предки с дачи примчались. Наслушались радио». Сам хмурый какой-то.

Приходим, а там комедия. «Карнавальная ночь».

«Вот хорошо, – говорю. – Нашим всем понравилось». Пожал плечом.

Из кино выходим. Я-то радуюсь, а он – туча тучей. «Что, – удивилась, – не понравилось? А мне – прямо очень... Вот нам бы так... Хорошая у них жизнь, как в сказке».

«Кончились сказки, – усмехается. – Про Венгрию слыхла?...» – «Про какую Венгрию? По телевизору, что ли? Так знаю. На политинформации объясняли: враждебные элементы... Против нас чего-то надумали. И чего им там не живет-ся?»

Гляжу, а у него рот дернулся – как плетью ожгло. Глаза мутные – не мертвые, не живые. Будто рыбы. Рукой махнул, пошел...

Побежать за ним?... А сама стою. Так и стояла, пока не скрылся...

– Ой, забыла! Я ж вам – постного сахарку.

Это они любят. Цветной, самодельный. Распустишь с вареньем, постоит, схватится – вроде карамели. Ножом поддела. Пусть клюют.

Так-то всегда с колотым. Не дай бог песок подать. Щипчики маленькие, блестящие. Старинные. Теперь таких нету. Колют звонко, мелко. Возьмут кусочек и – в рот. Прихлебнут и сосут. Раньше думала, жалеют. Что ж, на сахар не заработаю? Нет, отвечают, так вкуснее. И девку, поди ж ты, приучили. Сахарницу придвинешь – отодвигает...

Въезжала, девки стращали: «Как еще уживешься, с соседями!» В общежитии-то свои. А тут – чужая, деревенская, с дитём. Поди, говорят, с женой Сытинской посоветуйся: может, чего дельное скажет.

Нашла ее. «Ты, – говорит, – старух не бойся. Главное дело, поставь себя: пусть не думают, что хозяйки. В кухне мое место займешь – я хорошее отбила, у окна. А так, если что, возьми да прикрикни: по углам и расползутся. Жалко, мужика у тебя нету – моего-то боялись...»

Въехала. Ничего, тихие старухи. А все равно боязно. Сытина-то баба здоровая, поперек себя шире. Гаркнет, хоть святых выноси.

Первое время тишком старалась. Утром в одеялко закрутишь, коляска под лестницей – на замке. Замок тяжелый, на цепочке. Коляску завод подарил, замок сама купила – в хозяйственном. Вниз – бегом, замок отопрешь, под матрасик

на дно засунешь и наверх – за ребенком. Погрузились и – метель, не метель – в ясли. Бросишь нянькам – и на работу. Ясли свои, заводские. Все одно – душа болит. Бывало, надо во вторую, мастер попросит. К ночи приходишь – нянечка дежурная. Разбудит, замотает, принесет. Все бы ничего – хворать стала. Зоя Ивановна утешала: «Все дети болеют, и твоя отболеет».

Ясли на балансе – завод персоналу доплачивает. Да и мамки к праздникам носят – кто конфеток, кто чулки. Носить-то носила, а как спросишь? Грудничков много, а нянька одна. То мокрая наорется, то животик схватит. Умаялась с больничного на больничный. И выписывали, конечно, по среднему: разве сравнишь, когда с выработки.

Сперва ничего. Температура подымется, лекарства накапаешь. День-другой, и спадает. Потом уж судороги начались. Посинеет, закатится вся. Глаза мутные, белые. Всё, сердце замрет, кончается. Решилась в деревню отдать. Мать еще жива была. Тут старухи и явились. Легли костями.

У самих – никого. Мужья-дети сгинули, поумирали. И внуков нету. Иди, говорят, работай. Неужто не вырастим втроем?

Так и повелось: сама на работу, с работы – по магазинам, там отстоять, тут отстоять, и дома вроде прислуги. Постирать на всех, убрать, сготовить. Пенсии у них – слезы. Свои приходится докладывать. Зато дитё как принцесса. Почитай, три няньки на одну – и присмотрена, и причесана. Гуляют,

книжки читают. Учат, кому сказать, по-французски.

Девка умная – одно слово, городская. Картинки всё рисует. Буквам в четыре года выучилась. Понимает все. Только не говорит. Пять лет, шестой, а все молчком.

Так ведь сама и виновата. Молчала до последнего, пока живот не полез. Беременных-то у нас переводят. Принесешь с консультации справку, заберут из вредного. Кого в уборщицы поставят, кого на склад. Мужним – что? Они в своем праве. А тут – как признаешься? Стыд...

Раньше, до указа – ни-ни. Не убереглась – рожай. Да девок наших разве удержишь – чуть что, тайно избавлялись. Одна, говорили, прямо заладила. Мужики смеялись: вот паразитка, цельную бригаду извела. А ей хоть бы что – отлежится и опять за свое. А две, рассказывали, померли. Вроде заражение крови. Указ-то вышел – теперь пожалуйста: ходи хоть каждый год. Страшно, конечно: по живому режут. Да делать нечего – решилась.

В больницу пришла, а доктор: «Поздно. Срок большой. Теперь рожай».

Таблеток в аптеке купила. Выпью, думаю, может, скину. Неделю пила. Куда там...

Три года исполнилось, повела в поликлинику. Докторша рот смотрела, картинки на столе раскладывала. Так, говорит, все нормально. Слышит. Понимает. Это у нее задержка развития. Ждать надо – может, заговорит.

Сказала, профессор есть в Москве. Ехать, снова деньги. А

где ж их взять, думаю? И так от зарплаты до аванса...

По первости плакала все: ох, вырастет уродом... Ни в школу, ни в лагерь. А главное, без семьи. Кто ее замуж возьмет – немую? Век прокукует пустоцветом. Разве что немного найдет, себе под стать.

Старухи, спасибо им, утешали. На все божья воля. Придет время, заговорит. А бывает, идешь по улице. Кругом дети чужие – разговорчивые. Сердце кровью обольется. Отвернешься, слезы сглотнешь.

Старухи наставляют: там, на работе-то – молчи. Спросят, отвечай: хорошо все. У людей языки длинные, дурные. Все беды от языков. В глаза посочувствуют, а меж собой, кто их знает? Ославят. Оговорят.

– Щи кислые будете?

Будут. Суп полезно. Вчера хороший кусочек взяла – в гастрономе, на площади. Грудинка. Это они любят, с жирком. А то еще с косточкой. Хорошо, когда мозговая. «Мозги, – велят, – ребенку выбей. Мы уж чего...»

– В тазах у меня... Там, в углу. Бельишко замочено. Теперь уж вечером постираю, после смены.

Про старух ведь так и не знают. Сказала: мать выписала из деревни, она и смотрит. Зоя Ивановна тоже спрашивала. Нет, говорю, дома не болеет. А она: пока ясельная – ничего, подрастет, в садик надо – в коллектив. Дескать, в школу пойдет, трудно будет. С непривычки. Подумала-подумала, мо-

жет, и вправду с детьми-то свободнее. Разыграется, разговорится. Старухи не дали. Пусть, говорят, дома. Успеет намучиться. Теперь вот новое удумали: в театр.

На елку, что ли, спрашиваю? Так я взяла. Билетики в цеху раздавали, всем детным. Вынула, показала им. Сбоку талончик на подарок: Дед Мороз конфетки выдает, сласти всякие, вафли. Мороз Морозом, а завод, конечно, доплачивает. В цеху говорили, хороший. И шоколадка вложена. Мы-то не покупаем. И понятия такого не имеет. Когда батончиков соевых, когда карамелек...

Поглядели: нет. За подарком сама сходишь. А *она* не пойдет. Ей в другой – в Мариинский. И билета не надо – так пропустят. Там у них товарка знакомая. Вместе в церковь ходят. И проведет, и посадит, и присмотрит. Тоже одинокая: ни детей, ни внуков.

Костюмчик купить велели: шерстяной, китайский. Кофточка на пуговицах, рейтузики и шапка. Все дети, говорят, носят. Дорогой, поди, рублей шесть. И ленты в косы. Шелковые, под цвет.

Может, капроновых, спрашиваю. Нет, говорят, нельзя. От капронов концы секутся. Дома-то с вязочками ходит. Вязочки мягонькие. Бабки из старых тряпок рвут.

* * *

К раннему чаю собирались на кухне. Тут, пока дитё не

проснулось, решали все важное – строили планы. День открывался затемно, как долгий век. Дневное время, дальняя дорога, катилось с оглядкой на полосатые версты – раз навсегда.

В девять – встать, одеться, умыться. В десять сказка по радио. В два часа – обед. После обеда тихий час: спи, не спи, а полежать надо.

Меж верстами, в зависимости от погоды, занимались делами. Важнейшее – прогулка. Тут время не суеилось: подчинялось годовому кругу – по-деревенски.

В скверик у Львиного мостика ходили по весне. Весной в садах слякотно – закрывают на просушку. К Никольскому – осенью: под дубами, у ограды, полно желудей. В октябре облетали клены. Ходишь, шуршишь листиками... К ноябрьским – первый снег.

Зимой – тоже к Николе, или в Солдатский садик. Горка высоко-окая... Дети в очередь съезжают – кто так, кто на санках. Санки-то есть. Старые, хорошие. Да свою-то не больно пускали. И гулять приучились в сторонке, подальше от людей. С чужими детьми – беда: «Ой, а девочка ваша что – глухонемая?» Летом свободнее – кто в деревню, кто по лагерям.

Тут, за столом, едва получив ребенка на руки, пришли к согласию: первым долгом – покрестить. Тайком, не докладываясь матери. В этих делах мать – сторона. Слава богу, в Никольском звонарь знакомый. Сам глухой, а все понимает. Согласился переговорить с бабушкой, позвать на дом.

По метрикам значилась Сюзанной. Имечко басурманское, прости Господи. В прежние времена срамных девок кликали, чтоб заступниц святых не позорить. А теперь мать родная выбрала – кличку собачью...

Думали-думали, листали Святцы. Имен хороших не счесть, но первое попавшее не выберешь. Отец Иннокентий сказал: ищите сообразно метрике. Хоть по смыслу, хоть по заглавной букве.

Гликерия чего надумала: может, говорит, Серафимой... Нет. Решили в честь Софии.

Вечерами, при матери, избегали по имени: *ей*, для *нее*, *она*. Днем обращались ласково – Софьюшка. Меж собой – Софья.

Батюшка спрашивает: может, среди вас Вера есть, или Любовь, или Надежда? Ее бы и хорошо в крестные, чтобы Ангела вместе праздновать. Головами покачали: нету. Ни Любви, ни Надежды, ни Веры. Пока решали, чуть не перессорились. Крестная, конечно, одна. Она и перед Богом в ответе. Крестная – родня, а другие, выходит, кто – чужие? Отец Иннокентий примирил. Бог, говорит, со всех вас по очереди спросит. Которая первая пред Ним предстанет, той первой и отвечать.

И смех и грех: болячками стали мериться. У кого сердце больное, у кого ноги еле ходят. Отец Иннокентий говорит: человек сроков своих не знает. Бывает, Господь молодых-здоровых прибирает, а старых-больных не трогает. Раз-

ве проникнешь в Его замыслы? Согласились. Вспомнили молодых-здоровых. Своих.

Рубашечка крестильная у Евдокии Тимофевны нашлась. Долежала в комодке эва с каких времен. От Василия, сына старшего. Его уж и кости истлели, а рубашечка жива.

Материя тонкая, невесомая: ангельское облачение. Кружева вот только слежались, будто палое перо. Внуку не пригодилась. Сын с невесткой не дали: у нас, дескать, своя вера.

Сын-то в начальники вышел. «Я, – гордился, – нынешним не чета. С самой Гражданской с большевиками».

Тайком побоялась. Жизни их навредить.

Новую жизнь, смеются, строим, а вы, мамаша, норовите. Тащите в царское прошлое. Вроде на обратную дорогу. Нету пути обратного, а религия ваша – опий.

И чего выдумывают? Опий-то в аптеке продается – выпивают, когда от боли. И невестка – туда же. Вы, мамаша, вокруг себя оглянитесь. А мне, говорю, поздно оглядываться. Вы и оглядывайтесь. Вам этой жизнью жить. Не успели оглянуться, пришли за ними. Так и сгинули – в своем коммунизме. Спасибо, хоть внука не забрали: *та* бабка взяла.

Месяца два прошло, на Троицу: гостинец припасла, поехала. Улучила минутку, пока мальчонка на дворе бегал, завела разговор. Давай, мол, хоть вместе сходим. Нехристом вырастет. Грех-то какой. Та напугалась: «Что ты, что ты! Прознают, мигом придут. В детдом ведь закроют. Там и сги-

нет».

Она и повезла в эвакуацию. Разбомбили их под Лугой. Значит, первой пред Ним предстала – ей первой и отвечать.

Рубашечку приготовили, постирали. Кружева ветхие – разложили на полотенце. Пока стирали, побелели вроде. А высохли, все одно – желтизна. Прокипятить бы... Да тоже побоялись: жизнь прошла – расползется в руках.

Водички согрели заранее. Батюшка говорит: ну, решайте и девочку свою облачайте. Принесли, надели на Софьюшку. Евдокия как стояла, лицом помертвела: легко ли сына-младенца увидеть воскресшим... Потом ничего, совладала с собой. Только нельзя, говорит, мне в крестные. Как погляжу на рубашечку, душа чернеет. Ты уж давай, Ариадна. У тебя все – слава богу: муж – на Первой, сын – на Второй, внуки с невесткой в блокаду померли. Все по-людски.

Где ж, отвечает, по-людски, если во рвах лежат. Пусть уж Гликерия: она не рожала. Граф ее, муж невенчаный, от революции сбежал. Кто его знает, может и теперь живой.

Ладно, решили. Ариадне виднее. Куда нам за ней... Образованная. По молодости и за границей пожила.

Гликерия – восприемницей, обе другие за батюшкой подтягивают. Отец Иннокентий говорит: тихо пойте, чтоб никто не услышал. Кому слушать-то, отвечаем, нет никого.

Отслужил хорошо, не пропускал, не частил. Софьюшка-умница глазками моргает, прислушивается внимательно,

будто понимает.

Только раз расплакалась, когда Гликерия отрицалась бесов. Евдокия на Ариадну глянула, будто полоснула ножом.

Сели чай пить. Батюшка улыбается: грешен, говорит, чаевник отчаянный. Люблю душу побаловать – с сахарком, да вприкуску. Самовары ведерные вспомнили. На конфорках не то. Кипяток жидкий выходит, без вкусу. В самоваре густо кипит.

К причастию, говорит, сами глядите – как получится. Ничего, отвечаем, теперь-то что, принесем.

* * *

Погодка хорошая. Морозно, сухо. Чуть потеплеет – самое время гулять. Во двор выглянули – белым-бело. А дворника и не видно. Раньше, бывало, до рассвета с лопатой выходит. Нынешние совсем разбаловались. Посидели, старое повспоминали.

Ариадна первой опомнилась. В кладовку пошла, чулочки сухие снять. Евдокия за кашей направилась: мать с ночи сварила, сунула под подушку. Из-под подушки каша рассыпчатая. Гречинка к гречинке. Другую и не станет: ни манную, ни овсянку. Евдокия ворчит: в садах-то что попало суют. Греча – дорогая, еще и достань поди. Хорошо, Антонине на производстве выписывают. По два кило в месяц: на саму и на ребенка.

Ариадна одела, вывела. Софьюшка приучена – сама к крану идет. Гликерия с ковшиком наготове. Летом в трубах тепленькая. А зимой греть приходится, чтоб на ручки слить.

Евдокия командует: ну, отдыхайте. Пусть ребенок в спокойное поест.

Поела и – за чай. Попила, чашку отставила. Креститься, боже упаси, не учим. Матери опасаемся. Вдруг увидит.

После завтрака Гликерия за пяльцы сажает. Шить-то рано, а вышивать – в самый раз. И гладью, и узелком, и впереदिголкой. Утренний урок – лепесток желтенький. Пока не завершит, не отдаст.

Трудится, а Гликерия ей рассказывает: то про святых, то про Богородицу заведет.

Потом Ариаднин черед: сказку читать. У ней свои, французские. Книжка пухлая, с картинками. Как только в блокаду не спалили... Дочитает и за вопросы примется: сама спросит, сама и ответит. Чудно? говорит – по-французски. А то и ошибется нарочно: проверяет – поняла ли? Софьюшка нахмурится, головкой качает. Пальцем в книжке указывает – не так, дескать.

Евдокия раз увидела: «Неужто и читать знает, или так – наугад тычет?» Ариадна обиделась: «Почему наугад? Я когда читаю, пальцем вожу по строкам, чтобы она тоже следила. А буквы давно знает. Я еще весной показала».

«А ну-ка, – Евдокия удивляется, – задай какое слово. Пусть в книжке разыщет».

Софья улыбнулась хитренько, глазками по строчкам побежала – два раза нашла.

«Да ну вас! – радуется Евдокия. – Кто ж вас, грамотных, проверит – сговорились, поди!»

Софьюшка носик морщит. Смеется, значит.

* * *

Радио большое, черное – у Евдокии в комнате висит. Софья приходит, встает на стульчик. Включит, приникнет ухом. Тихонько, чтобы бабушкам не мешать.

– С вечера не спала, вот чего-то и вспомнилось: раньше конфетки были в коробках. Которые так насыпаны, которые – в золото обернуты. Откроешь, внутри щипчики серебряные. Иван Сергеич часто покупал – баловал меня.

Глаза веселые, улыбается, будто помолодела.

– Вот и разбаловал, гляжу, – Евдокия губы поджала. – Ишь, чего вспомнила: конфеты в золоте...

– Да разве ж я, – сморщилась, – по конфетам...

Евдокия сидит. Губы сухие, тонкие. Прямо в ниточку свела.

– Вчера, на Офицерской, гляжу, опять копают. Яму огромную вырыли, пар из нее – клубами. Сбоку мостки, по краю треноги выставили. Софью веду, батюшки, нечистая сила: из-под земли-то голоса. Кто ж это там – в кипятке? Глянула: мужики. Двое, морды грязные, под трубой ковыряются. Так

и смеются еще: «Чего, бабка, напугалась?» Напугаешься тут. Бесы, прости Господи! Роют, роют. Скоро насквозь расковыряют. Не сидится им на земле.

– На Офицерской-то – где? – Гликерия сахарку наколола, высыпала в блюде. Сама ма-аленькая. Как воробышек.

– Да тут, за углом. Как она у них? Декабристов.

Гликерия сахарок сосет – задумалась:

– Декабристы-то эти когда прославились? В революцию или в войну?

– Бог с тобой. – Ариадна плечиком пожимает. – Это же еще в прошлом веке. Декабрьское восстание восемьсот двадцать пятого года. Против крепостного права.

Образованная. Книжки читает. Цельная полка у ней.

– А-а, – Гликерия головой покачала, – вон оно когда... Тот-то я не упомню. Это матери моей волю дали. Наши-то все из крепостных. Да мать-то тоже не больно радовалась. С господами, говорит, лучше. Те выгадали, кто в город ходил, на заработки. Так они и раньше свободно. В прежние времена везде платили. И барину хватало отдать, и семье.

– Вот и перед войной, – Евдокия за щеку взялась, – тоже все рыли. Иду как-то, думаю – и чего роют? Ох, ведь дорожуются. Невестке сказала. А та губы дует: трубы, говорит, прокладывают. При царе, говорит, не заботились, чтобы во всех домах – вода.

– А мать рассказывала, барин наш хороший был, добрый. И замуж силком не выдавал. Отец-то кузнецом у меня. Вот

они с матерью приходят. А барин – ничего... Благословил их. Молодые долго еще ходили – благословения спрашивали. Уж и воля была, а все равно...

– Чего это, говорю, не заботились? У нас с прежних времен кран. И вода чистая, ничем не воняла. А мы, невестка мечтает, везде трубы поменяем. И поезда под землей пустим. Смеется...

– Раньше, до войны, – Гликерия вспоминает, – часто смеялись...

Евдокия сморщилась:

– Уж это они мастера. То смеются, то землю роют...

– Господи, – Ариадна вздыхает, – сколько же рвов безымянных... Как представлю, сколько с блокады осталось...

– С блокады!.. А канал?

Гликерия перекрестилась:

– Народу больно много. Одни роют, другие в землю ложатся.

– Кабы так... – Евдокия чашкой пристукнула. – Думают, другим вырыли. А потом, глядь, выходит – себе... Ладно. – Клеенку разгладила. – С вами сидеть – греха набираться. Зуб, едитская сила, ноет. И рот-то пустой, совсем зубов не осталось, а всё болят...

Рейтузы из толстой шерсти. Гликерия кофту старую распустила, связала в две нитки. Валенки с галошами, белевские. Теперь черные валяют. В голенищах не согнуть, не разо-

гнуть — ходи как в колодке. Под шапку — платочек хлопчатый; завяжут, спросят: не туго? Пальто новое, теплое. Евдокия свое перелицевала. Драповое, ватин в два слоя проложила. У самой другое есть — на ее век хватит.

— Мы уж в Никольский, — повязалась, концы заправила. — Санки не давайте — пешком дойдем.

Ариадна дверь закрывает:

— Мимо пойдете, обрати внимание: может быть, елки привезли...

Лестница широкая, пологая. На каждом пролете две квартиры. Дом-то старый, а от прежнего один грот остался. Большевики не добрались. Тритоны, раковины морские — все в неприкосновенности. Софья идет, всякий раз оглянется. Любит сказки.

Ариадна когда еще заметила. Раньше ведь как: сидит, слушает, лишь бы читали. Хоть Красную Шапочку, хоть Буратину этого, хоть Бабу-ягу. А теперь выучилась — сама книжку несет: раскроет, подает Ариадне. Читай, дескать, про девочку, про Русалочку. Ариадна уж измучилась: сил нет. Сколько можно одно и то же читать... Ты ведь, говорит, наизусть знаешь. А она нахмурится, глазки слезами нальются: пальцем указывает — читай. Ариадна и хитрить пробовала: то одно выпустит, то другое. Куда там! Выросла. Теперь разве обманешь...

Гликерия первая догадалась. Это она, душа ангельская,

про немоту свою понимает. Русалочка эта вроде ей чета. Только та-то хоть ведает, за что речи лишилась. А наша разве знает...

Перед домом сквер. За ним памятник: к площади передом, к нам – задом. В теплый день дети по перилам лазают. Зимой перила скользкие, леденелые. От него за угол свернем – вон они, купола.

Бабушка за спину взялась. Постоим, говорит, чуток. Прямо с утра немеет, как не своя. Стоит, кругом оглядывается. – Вот бы, – шепчет, – лет двадцать еще пожить...

Рядом иду, а сама думаю: старенькая, зачем ей столько?

– Поглядеть, чем у них дело кончится.

У кого это – у них?

Евдокия будто расслышала, буркнула сердито:

– У них, у этих... Большевиков. Ладно, – говорит, – ты, знай, молчи. А бабку старую не слушай. Под ноги лучше гляди, чтоб не упасть... Сперва в церковь, мне свечку поставить надо. День у меня плохой – годовщина нехорошая. Потом уж к колокольне прогуляемся. По каналу кружок сделаем и – домой.

Снизу сумрачно. Верхний храм нарядный. По лесенке взойдешь, красота неопиcуемая: золотом убрано, куда ни глянь.

Младенцем была, носили к причастию. Теперь боимся.

Опять церкви рушат. Неймется им, аспидам. После войны стихли вроде. Теперь снова взялись...

Бабушка Евдокия в церкви строгая.

– Вот, – учит, – там алтарь. Перед ним ворота царские: отворяют, все насквозь видать. Батюшки в алтаре ходят, словно праведники по небу. Вечером служба начнется – паникадила зажгут. Свет тихий, благостный. Оглянешься, душа радуется: золото горит, вспыхивает – так жаром и обольется.

Сходит, принесет свечек, потом за руку возьмет, подведет.

– Свечку, – говорит, – подтопи с исподнего конца. Крепко ставь, чтоб не упала. А глазами не шарь. Прямо на лик гляди. Теперь крестись, пока никто не видит. Да не так, горе: пальцы плотно сложи, сведи в щепотку. Проси Богородицу за души загубленные, грешные. Меня не слушала, может, к бессловесной снизойдет...

Лики строгие, темные. Огни под ними пляшут, бьются на свечах. Бабушка Евдокия говорит:

– Души живые теплятся. Прогорят, старуха черная явится: сметет огарки в подол. Вот и мы так: погорим-погорим и погаснем. Свечи-то до конца сгорают, а люди, бывает, и не до огарков.

С бабушкой Гликерией лучше ходить. С ней к Николаю-угоднику: «Молись, – учит, – Софьюшка, за странствующих и путешествующих».

Он и в комнате у нее. А под ним огонь – в красной чашке.

Бабушка подойдет. Стоит, разговаривает. Шепчет, шепчет. А он молчит. Видно, не умеет говорить.

«Николай, – рассказывает, – Святитель за всех заступается. Кто по морю плавает, кто в лесу заблудится – вот он на путь и наставляет. Во тюрьмах сидящих посещает, в болезни лежащих исцеляет...»

К иконе подведет – объяснит: «Вот, гляди. Вся жизнь человеческая представлена. И на этом свете, и на том. Там-то у них светло. В середине Господь сидит, а по сторонам его – праведники. Жизни прошлой не помнят: по-новому наслаждаются. А зачем им помнить? У них теперь другое, свое...

А внизу-то, – пугает, – ад. Тут уж муки: плач и скрежет зубовный. В аду, небось, грешники. Только Он и к ним спустится – снизойдет. Грешники всякие бывают: кто – закоренелый, а кто и по неразумию. Жизнь, – вздыхает, – как только не складывается – в особенности, пока молодая...»

Из церкви вышли, пошли вдоль канала. А там уж дом страшный: дядьки огромные стоят. Бабушка говорит: истуканы, медные лбы. Мимо идем, глянула украдкой: вон ножищи какие. Наступят, прямо раздавят.

Кружком обошли, и – дома.

– Ну, – бабушка Гликерия раздеться помогает, – где были, что видели?

– Где ж мы с тобой были? – бабушка Евдокия отвечает. –

В церкви, скажи, были, потом по каналу прошли.

– Ну, и как там? Морозно на улице? Намерзлись, поди?

Галоши сняли, валенки к батарее приткнули – пусть сохнут.

– Что это ты хмурая такая? – бабушка Ариадна показала, встала у притолоки.

– Да знамо что. Истуканов этих боится, – Евдокия платок разматывает. – Сколько ни говори, как об стену горох.

– Это же статуи, – Ариадна головой качает. – Разве можно их бояться?

За руку взяла, к себе ведет.

– Я же тебе рассказывала. Называются атланты. Их скульпторы сделали из камня. Сказка такая, будто бы они землю держат. А внутри – полые. Пустые. Там только проволока, чтобы крепче держалось.

На столе карандаш, книжка взрослая, раскрытая. Подле нее листков пачка. Бабушка Ариадна по одному дает – рисовать.

– Порисуй, пока обед греется.

Ушла.

Сверху облако. Под облаком дом большой. Внизу канал длинный. Вдоль него загородка. Перед домом эти стоят – огромные. Головы черные, страшные. Внутри проволока. Пальцы большие топырятся – возьмут и уйдут с места...

Карандаш отложила, прислушалась: нет, не зовут. Снова

карандаш взяла. Буквы большие, корявые. Вывела:

БОЛШЕВИКИ

– Что притихла? Рисуешь? – бабушка Ариадна заглядывает. К столу звать. – Ну, покажи, что ты там нарисовала?.. Господи боже мой... – Пальцами рот прикрыла. Схватила листок, из комнаты пошла.

Бабушка Евдокия заходит, глядит грозно:

– Ты чего ж это, девка, удумала? Ума, никак, решилась? И себя, и всех погубишь. Глупости какие писать!

Нахмурилась, пальцем пригрозила:

– Гляди у меня!

* * *

– Ты, Евдокия Тимофеевна, все-таки следи за собой. Твоих ведь речей наслушалась. А представь себе, заговорит?.. Да, не дай бог, еще в школе... – Ариадна петли подхватывает, думает вслух.

– Ох, грехи наши тяжкие, – Гликерия вздыхает.

– При чем здесь наши грехи?

– Уж и не знаю, – Гликерия петли считает, – что и лучше. При нашей-то жизни: языкастой или уж так, молчком.

– Чего ей в школе-то? И так, небось, грамотная, – Евдо-

кия вступает виновато. — Я вон три класса окончила — на всю жизнь хватило. А наша-то и по русскому, и по французскому. Считать научиться — вот с нее и хватит.

— Ты, Евдокия, сама подумай: как это можно — без школы? Не заговорит — в *особую* направят, — Ариадна шепчет, будто опасается кого.

— Ну уж нет, — голос возвысила, — в *такую-то* не отдам. Костями лягу. Нечего ей там делать.

— То-то они костей твоих напугались, — Гликерия на дверь оглядывается. — Явятся, утащат силком...

За окном тихо. На стеклах цветы заплетаются. Шкаф зеркальный в углу. Глаза закрыла — страшно. Будто крадется кто-то, грозит утащить...

Голоса сухие, слабые, едва проникают. Бабушка Гликерия кофту вяжет — обещала на праздник. Кофта теплая, синяя. «Из старой, — говорит, — выросла, так мы ее распустим. Ниточек красных прибавим. Вот и в школу можно идти»...

Распускать весело: нитка бежит, вьется, выскальзывает из петель. Гликерия за нитку дергает, Ариадна напротив сидит, наматывает. Как порвется, концы найдет, свяжет узелком. Комки пухлые, мягкие, старыми петельками завитые. Постирают — на веревку вешают, под каждый — мешочек с песком. Это чтобы петли выпрямить. А то новое начнешь, а старые

петли и не лягут. А так – нитка гладкая, только рваная очень. Свяжут, вывернут – вся изнанка в узелках...

* * *

С работы пришла.

– Ну вот, съездила я в Гостиный. Спросила у них. Были, говорят, костюмчики, да все разобрали. А тут еще заказы с производства. Вот я и думаю: может, и наш местком заказал?

Картошек набрала, подстелила газетку. Руки за день устали: нож не держат. Ох, думаю, нехорошо мне последнее время. Утром иду – ничего вроде. А потом как подступит. И от еды ворóтит, тошнит...

– В воскресенье не забудьте – в контору нам, опять за мукой стоять. Зайду, узнаю: а вдруг запись с вечера? Говорили, в одни руки по два кило. Гвозди еще накалить. Прошлый год поленилась, погнила мука. Вы уж на воскресенье приготовьтесь, оденьтесь потеплее. Часа два выстоять придется, а может, и все три.

Про дитё смолчала. Все равно не пустят: нечего, мол, по очередям толкаться. Другие-то ничего: младенцев и тех тащат. А как же? Сколько явилось, на тех по счету и дают.

Ополоснула картошку, поставила. Шкурки теперь выбросить. С черной лестницы холодом несет.

На лестнице ведра помойные – стоят по углам. Мама

шкурки картофельные выносит, в ведро бросает. Ведро полное, шкурки и высыпаются. Выглянешь, бабушка Евдокия сердится: «Куда, – кричит, – любопытная Варвара? Или Ворона Вороновича не боишься? Смотри, подкараулит...»

Ворон ночами прилетает, помойную еду клюет. Разворочит, поклюет шкурки и дальше полетел...

Пошла, по полкам пошарила.

– Нету, – говорю, – гвоздей. Снова на помойку тащиться.

– Ты, – Евдокия объясняет, – доски потолще ищи: в тонких гвозди-то мелкие, неподходящие. – Сегодня уж не пойду – темно. До воскресенья есть время – успею прокалить.

Плита черная, огромная. Спереди дверка железная – поленья пихать. На дверке засов кованый. Поленьями набьют – на засов заложат. Огонь в печи кряхтит, бушует. В щелку заглянешь – языки завиваются, так жаром и пышут. Ближко-то страшно: Баба-яга подкрадется, живьем в печь пихнет...

Прокалят, достают щипцами. Гвоздья кривые, красные: остынут, в банки мучные запихивают, чтобы мука не погнила.

Картошку слила – ужинать сели. Сами картошки с постным маслицем, Сюзанне – сырок в обертке. Нечего, говорят, картошкой наминаться. Вырастет, успеет еще.

– Барыню, – смеюсь, – рóстите: может, икры ей паюсной купить?

Пужинали – из кухни пошли. Теперь читать примутся. Ну, думаю, пусть...

Бабушка Гликерия книжку отложила.

– Глаза, – говорит, – у меня болят. Слабые стали. К вечеру совсем слезятся. Сегодня так расскажу, что помню.

«В некотором царстве, в другом государстве жили-были король с королевой. Жили они дружно, только судьба их не баловала: не было у них детей. Они уж и всякую надежду потеряли, да бог милостив, послал наконец девочку. Обрадовались, имя красивое выбрали. Приглашают гостей...»

Ох, только теперь и заметила: детское в общем тазу замочила. Хорошо, старухи не видели – отдельно велят стирать. «Взрослая грязь едкая. За целую жизнь копится. Как ни мойся, дочиста не отмоешь». Ладно, может, им и виднее. Сколько лет в Максимилиановской проработали. Няньками в приемном покое.

Вперед Евдокия устроилась. Потом других переманила. Так и дежурили – сутки через двое. В больнице удобно. Работа хорошая, легкая: примешь больного, белье казенное выдашь – снова седи. И сыта весь день. Кормят из больничного котла. Помыться если опять же. А еще и белье постельное: возьмешь комплект, застелешь. И грязное стирать не надо.

Снесешь, сдашь сестре-хозяйке. Вот бы в общежитии так – а то сами стирали, для себя...

«...А колдунья та злая была. Страсть не любила, когда про нее забывают. Как прознает об этом, пакости принимается выдумывать: лишь бы по ее воле было. Король с королевой феям кланяются, за дары щедрые благодарят. Только сели за столы, слышат, гром небесный раздался: карета черная едет, вороном запряженная. Тот глазами бесстыжими шарит, клекочет по-своему. Колдунья из кареты выходит и – прямоком к колыбели. Без меня обойтись задумали? Ужо! Пальцем грозит. Я вам свой подарочек приготовила: пусть, говорит, живет, пока не вырастет, а как вырастет, спицей ядовитой уколется – вмиг и помрет...»

Тру, тру... Мыло склизкое, так и норовит выпрыгнуть. Белое вскипятить: тя-янешь бак на плиту. Остынет, снова прополоскать, потом уж – в синьку. Натягаешься, живот прямо схватит. Раньше-то ничего: полежишь, отходит. А последнее время – кровь. Немного. Денек-другой помажет. Подкладывать все равно приходится. Тряпки эти отдельно стираю.

В подвале, во дворе общая прачечная. Которые хозяйки – туда ходят. Вначале тоже ходила. Потом зареклась. Жар, духота, котлы эти огромные. Пусть уж те, у кого коммуналки. На общей кухне много не настираешь. Мне-то хорошо: старухи рано ложатся, почитай, до ночи себе хозяйка...

«...Заплакал король, заплакала королева, а первая фея занавеску поднимает, выходит на белый свет. Это она заранее спряталась, чтобы колдовство злое застигнуть. Не плачьте, утешает, король с королевой: все равно по ее воле не будет. Мало у меня сил, чтобы колдовство отменить, но и сидеть сложа руки не стану: свое заклятье наложу. Пусть девочка ваша как вырастет, ядовитой спицей уколется – этого не миновать. Уколется, упадет замертво, но сама не умрет – только заснет надолго. А как пробьет ее час, глаза и откроются. Тут она навек проснется...»

Бабушка Евдокия в комнату заглядывает:

– Начитались? Теперь и спать пора. Огонь-то зажечь тебе? – Кнопку у ночника нашарила. – Не уснешь, небось, без огня.

Фонарик белый, на нем узоры красные – будто домик. По бокам феи нарисованы, на маковке петушок золотой...

Постирала. Белье выкрутила. Всю кухню завесила. Хорошо, думаю, ночью. Тихо. Выглянешь – все окошки погашены. Будто и нет никого...

У Гостиного, почудилось, *его* встретила. Сердце прямо ахнуло. Удивилась только: важный стал. В шапке пыжиковой. Обогнала, глянула потихоньку. Гляжу – нет. И чего это я... Другой он. А какой другой? Так-то и не скажешь. Нет у меня

таких слов.

Сколько лет прошло – лицо забывать стала. Говорят, в дочери проявится, поневоле вспомнишь. Особенно если в него. Пока что трудно сказать: вроде в мать мою, покойницу. А другой раз сядет, щечку этак подопрет, глаза к потолку – ну вылитый он. Лицом вроде и не похожа, а повадку переняла. Отродясь отца не видывала, а все будто помнит. А если заговорит? Неужто тоже как он? Опять ведь не пойму половину... Опомнилась: да пусть хоть как, хоть совсем на французском. Лишь бы заговорила...

В этих делах кругом непонятно. Девкой была, чудесам дивилась. Мать с отцом общие, а дети разными получаются. Один работающий, спину не разгибает, другой – лодырь, каких мало... Учителку в деревне спрашивала: как же так выходит? Не знаю, говорит. Все от природы.

Беременная ходила, тоже думала. К Зое Ивановне подступалась. «Всё, – отвечает, – от воспитания. Что вложишь, то и выйдет. Проворонишь, в отца своего вырастет, засранца». – «Чего уж, – говорю, – пенять теперь. Отец отцом, а я и сама виновата». Мать сколько раз остерегала. Разве учила – с первым встречным гулять?..

А еще, думаю, от имени много зависит. Взять хоть мое: Тонька да Тонька. Я тогда еще решила: если мальчик, в деда назову – мужикам все одно. А девочка – пусть с детства красивое имя слышит. Может, жизни моей не повторит.

По закону ведь как: отчество любое пиши. Зоя Иванов-

на советовала: «По деду записывай, по своему отцу». Ну не знаю, думаю: нехорошо как-то, не по-людски. Пусть уж по правде будет. Так и записала.

Старухи, те по-своему рассуждают: «Что народилось, то и вырастет. Случается, и на елке яблоко завяжется, а бывает, и на яблоне – шишка». – «Что же, спрашиваю, тогда стараться, за дитём доглядывать: ежели уж, к примеру, шишка, яблоком не станет». – «Нет, – соглашаются, – не станет. А если яблоко, тут уж от людей зависит: дичком кислым останется или соком садовым нальется»...

Зажмурилась: клубки цветные катаются... Все нитки у них спутались. Бабушки концы подхватывают, связывают узелками... Занавеска на окошке колышется: фея за ней спряталась – злую колдунью ждет. А та Воронов Вороновичей запрягла, по улицам едет: мимо церкви, вдоль канала, к самому черному дому... Большевики на них глядят, радуются. Пустыми пальцами шевелят...

* * *

– Вчера, – Ариадна жалуется, – совсем не спалось.
– Да уж слышала я, как ты у себя колобродила. Все слышно за стенкой.
– Пить очень хотелось, – оправдывается. – Сохнет в горле. Два раза вставала. Попью, лягу. Ничего не помогает.

– Пустую, что ли? Взяла бы, хоть валерьянки накапала. Или корвалолу.

– Лежу, думаю... Вот бы внук мой, Алешенька, пожил... Софья ему по годам – дочка.

– Ох, – Гликерия сахару кускового досыпает, – ладно, молчит пока. А заговорит – про отца ведь спросит.

Евдокия губы поджала:

– Пусть у матери своей спрашивает – мать-то на что?

Ариадна оглядывается, щипчики ищет.

– Сколько лет прошло... Так ни разу не появился. Видно, непорядочный человек.

– А может, помер уже?..

– Помрет он, жди-дожидайся, – Евдокия сухарь макает, размачивает. – Такие-то кобелины долго живут.

– Да ладно тебе, – Гликерия за него заступается. – А вдруг с того света любитесь, какая дочь у него выросла.

– Любуется он... – Губы поджала. – Чем так-то любоваться, помог бы девке: упросил – пусть бы заговорила.

– Ну разве можно так, – Ариадна страдает. – Сами не знаете, что говорите. Дикость какая-то.

– Одичаешь тут, – Евдокия губами пожевала. – Счастье, что ты у нас культурная... Пропали б без твоего-то ума.

– Антонина говорит – пропал он... Пошел и исчез, – Гликерия глаза опустила, уткнулась в чашку. – Вот я и думаю... Чего он вдруг исчез? Мало ли что?..

– Глупости мелешь, – Евдокия волком зыркнула. – Это ж

когда было? В те-то годы, наоборот, выпускали. Кто выжил, многие и вернулись. Не то что... – Совсем рассердилась. Отложила сухарь.

Какой отец? Кого это выпускали? К кому вернулся?

– Ну, – бабушка Евдокия оборачивается, – закончилась твоя сказка? Вот и слезай со своего стульчика. А то ишь, уши развесила! Привыкла к разговорам взрослым прислушиваться... А нечего тут слушать. Поди, у себя побудь.

К себе побежала.

Это же про ту девочку. Которая в шкафу живет.

Створку распахнешь – является: стоит, смотрит. У нас и платья одинаковые – бабушка Гликерия шьет. И комната на нашу похожа: стол, занавеска, стены желтые. Только кровать одна – другой нету. Зато дверь у них. А еще лесенка. Отец ее по лесенке возвращается, из-за двери смотрит. Полюбуется на нее и снова уходит.

У них квартирка маленькая: зачем им? – бабушек-то нету. Бабушки здесь, со мной живут. А мама ее не спит и не готовит. Только волосы перед зеркалом причесывает. Причесется и тоже уйдет...

– Ну, чего, – бабушка Евдокия заглядывает, – опять перед зеркалом крутишься? Ох, гляди – вырастешь вертихвосткой...

Подошла, прикрыла створку:

– На улицу пора собираться. С бабушкой Ариадной пойдешь.

* * *

К ограде подходим, а там замок висит. И горка пустая – никаких детей нету. А в садике люди одинаковые. Ходят, лопатами снег гребут.

– Боже мой! – бабушка Ариадна заглядывает. – Солдат сколько... Пойдем, голубушка моя, к мостику, на львов посмотрим, полюбуемся. Львы добрые, смирные. Сидят, караулят. Внук мой Алешенька тоже их любил. Николенька, младший, не запомнил. А старший должен помнить. Мы с ним часто ходили, как с тобой. Он все про нас помнит. Вот вырастешь, тоже про него вспомни. Я умру, никого у него не останется: только ты одна...

Домой пришли. Поели, попили – отдыхать пора. Бабушка Гликерия одеяло подоткнула:

– Вот и спи, голубка. Праздник скоро. Надо бы игрушки елочные проверить, вдруг побились. А побились – тоже не беда. Мы с тобой ниточек возьмем, корзинок цветных навяжем. Мама подарок принесет, а мы конфетки-то в корзиночки и положим. Зачем нам эти шары?..

Картошкой пахнет. Сковородка в кухне шкварчит.

– Солдаты там. Снег сегодня убирают, – Ариадна в сквороте помешала, от плиты обернулась. – У нас в саду тоже батарея стояла. Артиллерийская. Я ведь сначала радовалась: думала, так и прослужит рядом с домом. Первое время забегал. Прибежит, тушенки принесет. Сначала ведь хорошо их снабжали. А потом, в сентябре, – всё. Батарею в Залив перебросили, на форты. А он меня утешал: «Ничего, мама... От Ленинграда близко. Скоро в увольнение отпустят». Письма часто писал. А потом смолк. Последний раз в феврале пришло: младший уже умер. А старший пожил еще – они потом, с невесткой, на следующий год...

Кивают, слушают. В который раз рассказывает, а всё вроде внове.

– А кабы не умер никто, – Евдокия хлеба нарезала, – чем бы кормиться стали? Вон, глядите, с войны уж сколько прошло – а все муки? не хватает. Вот и считайте – нас теперь четверо, значит, восемь кило дадут. А так твоих-то всех собери, да моих прибавь – сколько бы понадобилось? Снова голод.

– Ой, не говори, – Гликерия хлебушка взяла. – Весной-то прошлой, помните, у многих погнила. Жучок в ней завелся. Как идешь мимо, пакеты мучные валяются. Вся помойка засыпана. Белым-бело... Хранить, видно, не умеют. Наберут, наберут, а гвоздями и не проложат. Так-то бы и три года пролежала.

– До революции ихней, – Евдокия губы морщит, – гвоз-

дями, небось, не прокладывали. А всем хватало муки?.

– До революции, – Ариадна голову опустила, – народ тоже страдал. Не так, конечно... По-своему. Но все равно многие мучились.

– Мучились они! – Евдокия головой крутит. – От безделья они мучились, вот и все ихнее мученье. Кто работал, тот и не мучился.

– Полно, – Гликерия рукой махнула, – жизнь ведь прошла. Чего уж теперь?..

– Так мне-то, – утихает, – ничего. Мне на том свете муки? не надо. Софью вот только жалко... Ей еще жить.

– А я вот иногда лежу, думаю: если б склады не разбомбили, может быть, и хватило бы муки?... По радио говорили: огромный запас сделан...

Евдокия тарелки собрала. Смолчала.

Вода льется, льется – значит, тарелки моют. Теперь в комнату пойдут, нитки мотать.

* * *

– Ну гляди, сперва донышко.

Пальцы ловкие, крючок так и прыгает – разве уследишь?

– Теперь стенки подыдем, свяжем по кругу.

Сверху каемка синяя, а к ней – ручка. За ручку на елку вешают.

– Помнишь, – бабушка Гликерия спрашивает, – какие у

нас там игрушки?

Шары цветные, рыбки, звери разные из картона. Еще птички стеклянные – голуби. А вместо лапок у них крючки. Это чтоб за елку цепляться. У церкви тоже голуби: только другие, важные. Ходят, с боку на бок переваливаются. Их крупной кормят. Пшеница принесут, насыплют. Вот они слетаются и клюют.

Там, у церкви, старик страшный. Ездит на санках. А санки у него сломанные, совсем без спинки. Сам короткий, ноги пустые, вместо рук крючки воткнутые, из железа. Он их из проволоки согнул – крючками в землю упирается, сам себя толкает. Бабушка Гликерия сердилась: «Чего смотришь? Отвернись. Это – инвалид. Таким с войны пришел. Раньше много их было. Один теперь остался: другие-то поумирали, должно. Отмучились, голуби. Отдыхают на том свете».

А... Догадалась... Это они здесь страшные, а там – уже голуби. На том свете елку им поставили. Вот они на ней и сидят. Не мучаются, крючками за ветки схватились. Голубям рук-то не надо. Теперь у них клювы выросли: конфеты из корзиночек клюют.

Бабушка нитку закрепила, растянула на пальцах.

– Ну вот, – говорит, – все и готово. Можно крахмалить. А вечером сяду, еще корзиночку свяжу.

Отложила, за свою работу взялась. Близко посмотришь – крестики одни разноцветные.

– А ты, – велит, – подальше-то отступи. Издалека яснее видеть.

И правда, смотрю: конь, а на нем всадник с копьем.

Бабушка говорит:

– Вот он, Святой Егорий, отца моего заступник. Ты рядышком садись, вышивай свой цветочек, а я тебе про него расскажу.

«Было это в Ерусалиме, во святом граде. А посторон святого града – три царства беззаконные: Содом-город, Гомор-город и третье – безымянное. Вот Господь глядел-глядел на беззакония и послал Содом и Гомор сквозь землю. А на третье царство напустил змея лютого. Приползает змей на соборную площадь и кричит страшным голосом: подавайте мне по человеку с каждого города! И осталось у них совсем мало людей...»

Нитку откусила, разглядывает.

– Тут, – обещает, – змей еще будет. Закончу, тебе подарю. А когда умру, память моя останется. У себя в комнате повесишь.

Бабушка Евдокия послушала:

– А я, – говорит, – скатерть тебе старинную оставляю. Полотно крепкое, камчатное, по кайме – розы. Гости придут, на стол накроешь – то-то они удивятся. А ты и объяснишь: бабушкино, мол, приданое.

Бабушка Ариадна услышала, к себе в комнату манит. По-

бежала за ней. А она на дверь оглядывается и говорит:

– Я тоже тебе подарок приготовила. Сережки старинные, бриллиантовые. Родительская память. Все в войну обменяли – только они и остались. В ушки тебе вденем. Ни у кого таких не будет. Вырастешь, в зеркало посмотришь, меня и вспомнишь.

Умрут, к той девочке отправятся, с ней будут жить. Девочка их встретит, обрадуется. Только комнатка у нее маленькая – жить тесно. Пусть и комнаты их умрут – чтобы всем разместиться...

– Что ж ты, – бабушка Ариадна говорит, – печалишься? Рано горе горевать. Мы ведь поживем еще, сколько Бог положит. А ты, пока молодая, хорошо живи, про нас не думай. Мы сами о тебе думать будем, любоваться. И жизнь твоя будет долгая... Ну, ступай на кухню. Пора молоко пить.

Пошла, а сама думаю: где ж им на том свете обедать? Надо, чтобы и кухня умерла.

* * *

Бабушка Ариадна через ситечко процедила: на, говорит, пей. К молоку пряник. Глазурь сухая, звездочками крошится, будто снежок.

Пряники из муки пекут. На том свете муки? нету – значит, и пряников... Что же они там кушают? Наверное, суп...

Дверь в прихожей хлопнула, замок хрустит. Бабушка Гликерия заглядывает:

– Беги, встречай мать.

А мама сама заходит. К столу села, пригорюнилась:

– Сил моих больше нету... Все помойки облазала: только две доски и нашла. Вчера надо было – сегодня-то все хватились, растаскали... И гвозди кривые, ржавые – еле выдра-ла. Сейчас, – волосы поправила, – отдышусь... Почек купить ведь думала. Рассольничек сделать. До гастронома дошла, а зарплата-то в пятницу. Так-то бы и хватило, да шесть рублей отложено, вдруг костюмчик принесут. Зоя Иванна обещала... Да, вот еще: на той неделе самая работа – план горит. Я мастеру сказала: если что, сверхурочно прихвачу. Сверхурочные к тридцатому выплатят. Я вот и думаю: вина бы надо на праздник. Муки получим, пирогов напеку. С картошкой или, может, с капустой. У нас одна тоже: торт, мол, куплю, в «Севере». Я и подумала: может, и нам? А потом думаю: нет. Баловство. Лучше сосисок взять или сыру. На праздник-то можно. Винегрет еще накрошу. Селедки с лучком. Встретим не хуже людей.

Евдокия говорит:

– Ребенку разве можно без супа? Ты хоть постного ей свари: картошечки нарежь, морковки. Молочком и забелим. До пятницы долго еще...

– Нам, – Ариадна оправдывается, – в четверг пенсию приносят.

– Господи, – прямо расстроилась даже, – да разве я про это? Со сверхурочными так рублей восемьдесят выйдет. Прокрутимся. Ладно, – говорю, – пойду, полежу часок. Вы уж сами ужинайте. Устала...

– Селедочки-то хорошо... – Гликерия в пустую кастрюлю заглядывает. – Просолиться.

– Ты, – Евдокия сердится, – транжирка у нас известная: тебе лишь бы деньги тринкать.

Голова плохая – тяжелая. Продуло меня, что ли?

Легла. Плохо, думаю. Последнее время совсем будто мертвая. Хожу, делаю, а внутри пусто... Зима больно тянется. Прямо не дожить до лета...

* * *

Зою Ивановну в перерыве нашла, спросила про костюмчик. А она и говорит: «Разговор к тебе есть. Зайди после смены».

Обратно иду, жена Сытинская навстречу.

– Ну, как живешь-поживаешь? Эти-то не сдохли еще, ста-

рые ведьмы? С мамашей твоей ничего, ладят?

– Да, хорошо, – говорю, – живем.

– Ты смотри, потачек им не давай. Я вот жила, не давала. И не гляди, что старые – еще и нас переживут. Ох, попили моей кровушки. Володька маленький был. Чуть что – являются. «Уймите, – мол, – вашего мальчика, чтобы он в прихожей не кричал». – «Ага, – говорю, – может, ему и рот заклеить?» А Евдокия эта, злыдня: «Вот, – шипит, – и заклейте». – «Может, – говорю, – нам и всем рты-то позаклеивать? Руками объясняться, вроде немых? Лучше б, – говорю, – за своими детьми глядела, чем чужих гонять». Гляжу – молчит. А чего ей сказать? Ей сказать нечего. Я-то все про нее знаю, соседка снизу рассказывала: старший у ней – еще до войны расстреляли, а младший и того хуже – тюремщиком ведь служил. Ох, замуж бы тебе, Антонина... Второго родишь, завод квартиру предоставит. Иначе так и не выберешься – из ихнего болота. Ишь, суки старорежимные!.. Мы когда еще получили... Въехали. Сколько лет прошло, а поверишь, до сих пор снится. Проснусь, прямо мокрая вся. А потом лежу и думаю: нету же их больше. Одни теперь живем. А внутри-то щемит, щемит: господи, думаю, вот же он – рай...

Все-таки сучка эта Сытина. Живет как у Христа за пазухой, а все туда же – тюремщик... Лишь бы сына чужого оговорить. И не боится. Свои ж сыны подрастают. А если их кто оговорит?..

Смена закончилась, в местком поднялась.

Зоя Иванна приглашает:

– Садись, Антонина. Что ж ты с дитём своим делаешь? Девке шесть скоро, через два года – в школу. Ладно, боле-ла, пока маленькая. Так теперь вроде и выровнялась, а все с бабкой сидит. Нормальные детки в садик ходят. Вон внуки у меня: и рисуют, и песни поют, и стишки рассказывают. Мать-то у тебя неграмотная – как к школе подготовит?

– Да нет, – оправдываюсь, – ничего: Сюзанночка и буквы все знает. Читает помаленьку.

– То-то, – говорит, – что помаленьку. А в садике учителя специальные, спектакли ставят. Раз в неделю музыкальное занятие. Разве сравнить? Недавно и в театр кукольный водили, на Седьмое ноября – под праздник. А как они к празднику готовились! Песенки, речевки разучивали. И питание в садике диетическое, разнообразное. Ты ж пойми: девочка твоя – не деревенская. Ей в городе жить.

– Спасибо, – говорю, – подумаю.

– Ты, – торопит, – скорее думай. Время уйдет – упустишь.

– Как там, – все-таки решилась спросить, – костюмчик?..

– Ты, – хмурится, – Антонина, вроде и не мать, а мачеха. Тебе дело говорят, а ты – про всякую ерунду. Вот вырастет девка старорежимная, локти станешь кусать, да уж поздно. Ладно, иди пока... А костюмчик обещали. К послезавтра, сказали, посмотрят. Может, еще и есть на складе. Мы ж их к ноябрьским заказывали – я и внукам брала...

Обратно иду, думаю: немоту-то от них скрыла. А ну как всплывет? У нас в цеху тоже одна была. На кислотах до последнего работала, живот себе перетягивала, чтобы поменьше видно. А мальчонка родился – сперва вроде здоровый. А потом глядят, а он и ходит плохо, и голова какая-то большая. Утешали сначала: ничего, может, выровняется. А потом пошло... Водянку мозга определили, который год по больницам... К ним попади только – затаскают по врачам. Со всем загубят девку. Нет уж, решаю. Не отдам. Живем хорошо, не хуже других. Ишь, театры у них... Так наша тоже пойдет в Мариинский. Обещали же – на балет. А праздники... Так и мы праздник устроим – елку нарядим, поглядим еще, чья лучше... Господи, думаю, а все равно страшно. Вдруг да отымут?..

Через дорогу пошла, а сердце бьется, колотится.

Бабки-то умные, конечно... Так ведь и Зоя неглупая: правду говорит. Они-то свое прожили. А жизнь другая настала – чего они знают?..

Домой пришла. Разговор начинаю:

– У нас в цеху в очередь некоторые встали – на телевизор. Триста сорок восемь рублей.

– Старыми? – Ариадна уточняет.

– Да какое, – говорю, – новыми.

– Батюшки! – Гликерия руками всплеснула. – По-старому три с половиной тыщи.

– Телевизор-то, – говорю, – тоже новый, без линзы, показывает как в кино. Может, и нам встать? А что? Передачи бывают хорошие: и взрослым, и для детей. Пока ждем, помаленьку и накопим: если каждый месяц откладывать – рублей хоть по тридцать. К Евдокии Тимофеевне поставим: вроде свой красный уголок. Вечером сядете, будете новости глядеть: где да что в мире происходит. В Америке там или... в Венгрии... И Сюзанночка посмотрит – ей же в школу идти...

Молчат.

– Ну, – говорю, – думайте пока. Сюзанночка радио любит, а телевизор еще и лучше.

Евдокия ворчит:

– Газеты, радио – все им мало. Теперь телевизор выдумали. Скоро в яйцо куриное заберутся.

– Зачем же так, – Ариадна ее укоряет. – Разве плохо передачу хорошую посмотреть?

– А ты, гляжу, за долгую жизнь не насмотрелась... А мне уж хватит. Сын мой тоже. Газеты все читал. «Надо, – говорит, – мамаша, всегда быть в курсе». Ага, думаю... Только курс-то ихний известный: читай, не читай – все одно не минует.

– Тебя послушать, до сих пор бы жили в каменном веке. Так лучину бы и жгли.

– Ну и жгли бы, – Евдокия плечами пожимает. – Кому она мешала – лучина-то?

Мама в комнату заглядывает:

– А ну-ка иди, я печку разожгла. На огонек полюбуешься. Побежала, маленький стульчик приставила, села против дверцы.

Мама говорит:

– Гляди, осторожно. Близко не подвигайся. Вот телевизор купим – тогда уж нагладишься. В телевизоре тоже как будто дверца, только другая, стеклянная. Называется экран. В электричество включают, глядь, а там огонек занимается, как звездочка, а потом вдруг вспыхнет, и картинки разные бегут: чудеса... Показывают, рассказывают: где, да что, да как людям живется. Другие-то смотрят, а сами ума набираются. Вот и ты насмотришься, а потом и в школу пойдешь. Учительница тебя спросит: «Встань, Беспалова Сюзанна, ответь: знаешь ли, что такое кукольный театр?» А ты и ответишь: «Конечно, знаю. Я по телевизору видела. Там куколки такие хорошие. Которые из дерева, а которые из тряпок. Вот им пальцы внутрь-то засунут, а они знай представляются: то плачут, то смеются. Как живые». Тут она обрадуется: «Садись, – скажет, – Сюзанна Беспалова. Ставлю тебе пятерку». А дети тоже удивятся: «Надо же! В детский садик не ходила, а сама все знает»...

Мама дверку распахнула, кочергой в печке шевелит. А жар от печки горячий, прямо в глаза бьет. Дверку заложила, глазки рукой вытирает.

– Ничего, – плачет, – не бойся. Все хорошо у нас будет. Ну, поди к бабушкам...

– Ну, – бабушка Евдокия пуговички расстегивает, – и на чем вы с бабушкой Гликерией остановились? Ох, – вздыхает, – голова моя садовая, ничего не помнит. А... – говорит, – вспомнила. Мачеха-то ее из дома выгнала. Пусть, мол, в лесу пропадает.

Платице на спинку повесила, сама на краешек села.

«Вот она живет в лесу, а у мачехи этой было зеркало, да не простое, а волшебное. Глянешь в него, всю страну видать: что, да где, да кто как поживает. Вот мачеха его и спрашивает: “Как там моя падчерица? Неужто без меня хорошо живет?” А зеркало как вспыхнет: “Хорошо, – отвечает, – ей живется. Живет, не тужит. День ото дня краше становится”. Тут мачеха озлилась, бабу кухонную зовет. “Поди, – велит, – вырядись странницей, а я тебе платье красивое дам, ядом его напитаю – ты моей падчерице его и подари”. Баба платочек повязала, женщиной доброй прикинулась, да в лес этот и пошла.

Вот охотники возвращаются, а в доме что-то неладно. Входят, а сестрица их на полу распростерши. Лежит, не дышит. Долго они глядели-присматривались, а про платье и не подумали. Чтобы его снять. Погоревали, да делать нечего: смастерили гроб стеклянный на железных цепях. Девушка в нем лежит, сама будто живая. А мачеха никак не уймется, снова страну свою оглядывает – зеркало пытается: “Что ж там моя падчерица? Навсегда ль умерла?..”»

– Спишь, что ли? Ну и ладно, вот и спи пока...

* * *

– Ну, – Евдокия начинает, – думайте с этим телевизором.

Утро раннее, серенькое. «У микрофона Мария Григорьевна Петрова». Величают по отчеству, а голосок слабенький, детский, будто и жизни не жила. Таким-то голоском в самый раз сказки рассказывать.

Софья на стульчике замерла – слушает.

– Да дорого больно, – сомневается Гликерия, – прямо и не знаешь...

– Другие ведь как-то покупают. Антонина говорит, в очереди стоят.

– Так, может, денег у них много? Куры, видать, не клюют.

– Откуда?.. – Гликерия рукой машет. – Теперь господ нету: на зарплату живут либо на пенсию.

– Не скажи, – Евдокия бутылку взяла, молока в чай плеснула. – Помнишь, в сорок четвертом-то? Блокаду едва сняли – бабу к нам привезли. Сама толстая, сытая... – Чаю хлебнула, сморщилась, будто кисло ей.

– Скисло, что ли? – Гликерия напугалась.

Молчит. Уткнулась в чашку.

– А мальчонка у ней еле живой родился. Доктор определил – жиром своим задушила. Муж еще к ней ходил, по всему видать – знатный. Передачи носил бога-атые. Вот она за-

кроется под одеялом и жрет.

– Помню, – Гликерия вздыхает, – как же не помнить: колбасой-то как пахло... Несешь передачу, голова кругом – хоть в обморок вались. Выписываться стала, я ей одежду принесла, а она мне ломтик сует – вроде в благодарность. Вышла я, в уборной от всех закрылась – проглотила. Кусочек-то маахонький. И часа ведь не прошло – вырвало. Прямо куском и вышел. Что же это со мной, думаю? Неужто человеческую еду не принимаю? Привыкла к жмыху...

– Человеческую... – Евдокия опять морщится. – Какая ж она человеческая? Люди-то хлеб ели... Ну маргарин когда. А то ведь и клей обойный. И хорошо еще, если клей. В первую зиму кончился. Сосед у меня, мальчонка, так и вовсе уголь грыз. Достанет из печки и грызет. Так и помер с головешкой. Рука мерзлая, а сам-то держит, держит... Разжали едва. И рот черным измазанный... Колбаса у ней, видать, испортилась, вот она гнилье и отдала.

– Ох как пахло! – Гликерия будто и не слышит. – А после войны-то, когда в магазине появилась, я ведь до-олго не могла. Как понюхаю колбасу, прямо изнутри подступает... Ох, – опомнилась, – не к столу...

Ариадна хитрая, разговор переводит:

– Соломона Захаровича помнишь?

– Ну как же! – А сама смеется мелко, аж покраснела.

– Еще бы, – Евдокия фыркает, – ей не помнить! У них же в войну – шуры-муры...

– Да какие там! – машет. – Что он, что я – живые покойники. Так... Разве – поговорить...

– А после войны? – Ариадна в чашке мешает, глаза отвела притворно.

– Виделись, – кивает. – Замуж меня звал. Жена у него погибла – к матери перед самой войной поехала. В Белоруссию, что ли... А обратно и не вырвалась – осталась под немцем.

– Ну а ты чего? – Евдокия жевать бросила, слушает.

– Так детки у него. Двое. Подумала, подумала. Не пошла на детей. Мужик-то он неплохой, и врач уж очень хороший. А все равно не решилась. Жалела его – это правда. Он когда еще говорил: вот войдут в Ленинград, меня с девочками первыми расстреляют. Я еще, дура, не верила: думала, все под немцем одинаковые.

– Ихняя нация, – Евдокия сердится, – хоть от немца... А наша все больше – от себя. Воистину сами себе – первый враг. Чужие-то только задумать успеют, а мы уж, глядь, и сделали. Против немцев-то мы – герои. Вот бы так – против себя...

– Ну как же можно! – Ариадна прямо расстроилась. – Сама не знаешь, что говоришь. Грех с немцами сравнивать!..

– А ты, – ворчит, – прислушайся. Ежели своего ума не хватает... Ладно. Хватит чаевничать. Ребенку гулять пора.

На улице совсем распогодилось.

– Ну, – бабушка Евдокия спрашивает, – дойдем до мости-

ка? Поглядим, вдруг елки привезли?

Подходим, а с той стороны – загородка. За ней елки, лапами топорщатся. Дядька чужой караулит.

Елки худые, тощие. Иглы на землю рассыпались. В лесу другие, пушистые – как на картинке.

Бабушка говорит:

– Ох и елки! Откуда ж они берутся такие – палки одни... Уж не знаю, – сомневается, – что и делать. Может, взять, пока народу мало. А то с работы пойдут и эти расхватают.

Дядька калитку открыл: «Выбирайте».

Ходим меж елок, смотрим. Бабушка Евдокия сердится:

– Елки-то мертвые... В прошлом году, что ли, срубили?.. – Выбрала вроде. – Эту, – велит, – давай.

Дядька ловкий: петлю на елку набросил, спеленал. На санки кинул – везите.

– Вот, – бабушка говорит, – дотащим с тобой, под лестницу и спрячем: мне на этаж не поднять. Мать с работы вернется, пусть сама тянет...

– Ну, – бабушка Гликерия встречает, – где ходили, что видели?

– Елку, скажи, купили, под лестницей спрятали. Насилу и выбрали. Иголки так и сыпятся, будто год у них пролежала.

В комнату пошла, цветные карандаши достаю. Бабушка Ариадна кивает:

– Молодец. Елочку красивую нарисуй.

Красивая елка, пушистая. На ветках шары большие, корзиночки конфетные. А между ними инвалиды безногие – на крючках. Им на том свете не больно. Висят, не мучаются, отдыхают...

Только место внизу осталось. Канал пририсовала. Решетка у него черная, и мы с бабушкой идем. А в санках у нас елка спеленатая, мертвая: год как пролежала. Это с того света отдали: сами поправднуют и нам отдают. Глаза зажмурила – буквы большие вижу. Нет. Нельзя писать. Опять заругают.

В кухню побежала. Бабушка Ариадна говорит:

– Очень красивая картинка! Все правильно: елку привезли, теперь разукрасим.

– Господи, – бабушка Евдокия заглядывает, – чего это у тебя там, в санках? Будто покойник какой. Чего, – говорит, – улыбаешься? Вот так-то и возили в блокаду. В рогожу завернут, на санки положат и везут. Идешь, смотришь: маленький, значит, ребеночек. Сколько их в первую зиму-то свезли...

– Во вторую, – Ариадна вздыхает, – не меньше.

– Больше, – ворчит, – меньше... Кто ж их тогда считал...

* * *

– Да-а, – Евдокия головой качает, – хорош...

– Там еще красненький был, да я этот выбрала. – Мама на диване разложила, любитесь.

Бабушки стоят, кивают:

– Еще бы! Красный – ни в какое сравнение.

– Шерстка мягонькая, – мама рукой гладит, – прямо как теленок. Мы ведь до войны корову держали. Потом зарезать пришлось.

– Вот тебе и китайцы... – бабушка Евдокия вздыхает. – Раньше-то и не слышно про них: все японцы, да японцы. А они, гляди-ка, чему научились.

– Как это – не слышно! – бабушка Ариадна заступается. – Китайцы – народ древний. Почти пятьдесят веков.

– Вот-вот... Еще пятьдесят пройдет, глядь, и мы чему-нибудь научимся.

– Да нешто не умели! – бабушка Гликерия руками всплеснула. – Всё мы умели! Раньше какую красоту делали: и вышивки золотые, и кружева... Блузки плоеные, шляпки, рубашки шелковые, подзоры – графиня моя, покойница, нашу работу предпочитала...

– Ой, – вспомнила, – ленты-то! Я же ленты еще купила.

– Прямо и не знаю, – бабушка Гликерия ленты разглаживает, – форменная принцесса... Самой-то как, нравится?

– Ладно, – мама говорит, – вы уж наряжайтесь, а я картошки почищу.

– Ну, – бабушка Евдокия командует, – скидай платье.

– Вот, – Гликерия в кухню выводит, – пусть мать-то полюбуется.

– Батюшки! – изумляюсь. – Чья же это девочка такая в

костюмчике – и не узнать! Неужто доченька моя рóдная?

– Она, – Гликерия радуется, – она. Вот ленты в голову вплетем, тогда и в театр можно.

Картошку слила, ужинать сели.

– Ну что там, – спрашиваю, – решили про телевизор?

– Решили, – Евдокия за всех отвечает, – вставай.

– А я вот, – створку оконную распахнула: холодно между окон – масло хорошо стоит. – По Гостиному шла, отдел у них большой – ткани. Ох, и материалов! И шерсть, и ситец, и штапель... Может, и мне какое сварганить, фланелевое? Мое-то совсем старое – светится на локтях.

– Что ж, – Евдокия отвечает, – дело хозяйское. Разбогате-ла, гляжу.

– Ладно, – опомнилась, – это ж я так, на будущее.

– Да чего это я! – Евдокия спохватилась. – Совсем из головы вон. Елку сегодня купили. Под лестницей на санках привязана. Ты уж сходи, забери.

Посуду помыла, прислушалась: уснули вроде... Ладно, передохну маленько, потом уж притащу. Глаза закрыла: матери-и эти висят. И женщины ходят – щупают. Вроде сами и не молоденькие, а одеты хорошо. Видно, мужья зарабатывают. Одна-то особенно. На пальто себе выбирала. Сама в шубе, а еще и на пальто. С родственницей, видать, пришли. Тоже бо-гатая. Советуются. Подошла, посмотрела: батюшки, восем-

надцать рублей за метр. Что ж это, зарплаты у них такие – по эдакой цене покупать?..

Вниз спустилась, а там – темень. Вот паразиты, думаю! Снова лампочку вышибли. Парни дворовые, хулиганят... Влезла под лестницу, нашарила. Все руки себе исколола.

Гликерия в комнату зашла. Стоит, мнется.

– Чего хотела-то... Фланель эта – почем, например, за метр?

– Так, разная, – отвечаю. – Которая с цветами да поплотнее – дорогая. По два сорок пять.

– Новыми?

– Конечно, – говорю. – Теперь всё – новыми.

Стоит, губами шевелит:

– Три метра – семь рублей, считай... А та, другая, что пожиже?

– Пожиже-то, – отвечаю, – бумазея, по рубль сорок. Со всем внатруску и маркая очень.

– Ты вот что, – в юбке пошарила, кошелек достает. – Теперь у меня рубль восемьдесят только. Пенсию на днях принесут. Съезди, купи два отреза, сама выбери, которая получше. А я сошью – и тебе, и себе. Одинаковой только возьми: лоскутки останутся, передничек еще соберу.

– Сюзанночке? Ей-то, – говорю, – зачем? Неужто с детства к венику прилаживать?

– А с какого же еще? Вырастет – поздно будет. Меня вон с каких в белошвейки готовили...

Смолчала, а сама думаю: женщин этих, небось, не приучали. Вот и выросли барынями. Жизнь-то, она зоркая – с самого детства примечает...

Спать ложиться стала, а сама считаю: костюмчик дорого встал. Думала, рублей шесть, а тут – девять восемьдесят. Считай, все десять. Снова сверхурочные придется... Мастер уж и смеется: «Ох, и жадная ты, Беспалова! И сама вроде получаешь, и премии опять же, и у матери твоей пенсия – неужто не хватает? Девку свою на золоте, что ли, кормишь?» – «Ага, – отвечаю, – Игнатий Михалыч, на золоте да на серебре». Кому это объяснишь, что четверо на шее? «Принцессу, – говорит, – рбстишь? Ты уж, – говорит, – прости, если не так скажу. Женщина ты молодая. Может, и замуж выйдешь. Это ведь как случай подвернется. А семья любому нужна». – «Да кому я, – смеюсь, – сдалась? Немолодая, да с таким привеском?» – «Не скажи, – хмурится. – Вон Николай с гальваники. Я уж давно замечаю – приглядывается он к тебе. А чего? Мужик он хороший, скромный: не курит, не пьет почти. Вот я и говорю: ты хоть голову, что ли, прибери, оденься как следует, а то ходишь – чумичка чумичкой. Вдруг и сладится у вас...»

Вот-вот, думаю: вдруг – под рундук...

Створку распахнула, а зеркало плохое, мутное, едва видеть. И лицо-то у меня серое, и синь под глазами. «Что ж

это, – гадаю, – за Николай такой?» Вроде всех перебрала с гальваники. А нет, не вспомню...

*Глаза открыла – мама у створки стоит, причесывается.
Снова на тот свет собирается. Там хорошо, празднично...
Расческу отложила. Вытерла слезки...*

* * *

– Может, – бабушка Ариадна кряхтит, – в землю бы и лучше? Насадить на крестовину и – в песок.

– С крестовиной-то разве пихнешь? Ведерко больно маленькое, – бабушка Евдокия елку держит, примеривается. – Песочку на дно подсыпем и – ладно. Как запрошлый год.

– Ты-то хоть уйди, не крутись, – бабушка Гликерия отгоняет, – ручки себе наколешь.

Иголки так и сыпятся. Нагнулась, с полу подняла. Иголка рыжая, ржавая. Будто гвоздик маленький...

– Батюшки! – Гликерия вскрикнула. – Глядите, палец себе распорола!

– Йодом надо, йодом! – Евдокия к шкафчику кинулась. – Елка-то грязная, незнамо где валялась...

Намазали, бинтом замотали. Бабушка Ариадна к дивану повела:

– Сиди смирно.

Сижу, глаза закрыла. А палец наколотый болит.

Вот засну, думаю. А иголка эта ядовитая. Через сто лет проснусь...

Бабушка как говорила? Через двадцать лет кончится. Проснусь, а ничего нету. Только эти лежат, огромные, каменные. На куски рассыпались, ногами пустыми шевелят. А ведьма злая в карете едет. Глядь, а куски-то рассыпанные – никак не объедешь... Палку свою взяла, Ворона Вороновича погоняет. А он и рад бы, да проволоки железные торчат. Тащит, тащит, а они за ноги цепляются... А ведьма ему кричит: «Взлетай!» Вот он крылья распустил. Летит, сверху смотрит: девочка уколота спит. А вокруг пусто: все на тот свет ушли, и бабушки, и мама... Проснется, оглянется: одна она осталась. И нету у нее никого...

– Батюшки-светы, – бабушка Евдокия елку бросила, ко мне идет. – И чего это ты расплакалась? Кто ж тебя обидел? Полно, голубок, слезы лить. Болит пальчик-то? – Села, обнимает.

– Это она думает: наказали ее.

– Да кто ж тебя накажет? Посиди, – говорит, – тихонечко. Пальчик пройдет, станем елку наряжать.

Бабушка Евдокия пахнет сухо, сладко. Уткнешься – и не страшно. Ничего, что одна. Я к ним на тот свет приду. По-

живу маленько и приду...

– Ну вот, – бабушка Евдокия говорит, – и высохли твои слезы. Слезай-ка с дивана, тапки надевай...

– Ох, – Гликерия озирается. – А на ноги что? У нее ж тапочки, да валенки, да ботики старые – на осень. А в театр туфельки надо – в валенках-то не пустят. У барыни моей, ох, и туфли были! Вышитые... Я и вышивала.

– Правда, – Евдокия задумалась. – Невестка в туфлях ходила. Тоже барыня... Бурки-то не наденет. В своем магазине брали – для партийных. Я ей: «Хорошо, – говорю, – живете. Будто особые. Видать, из другого места родились». А она мне: «Это, – мол, – за партийные заслуги». А я: «Ну-ну, гуляйте, пока воля ваша. Все, вишь, у вас особое. Кроме смерти». А она смеется: «Нам, – дескать, – смерть не ко времени... Ну ее к богу, эту вашу смерть»...

– Была б у меня колодочка, мигом бы сварганила, – Гликерия раздумывает, прикидывает. – Кожи только найти на подошву. Хоть бы какой кусочек».

– Во-во, – Евдокия опять недовольна. – Тебе волю дай – и станок ткацкий притащишь... Матери сказать надо. Пусть в магазине посмотрит. Мало ли, может, всем теперь продают...

– Гостиный, – Ариадна вступает, – большой. У отца магазин был. Бывало, покупатель чем-нибудь интересуется, а в магазине этого нету, так они на склад сходят, посмотрят.

Склад тоже близко – прямо за Думой...

– Баловство все, – Евдокия как отрезала. – И в валенках посидит. В театре в вашем... Я-то про другое думаю: Антонина, ох, неспроста завела! Про платье-то про это. Как бы с кем не снюхалась... А то гляди...

– Ну и что такого? – Гликерия заступается. – Дело молодое – ниткой не зашьешь.

– Если что, пусть к мужу уходит, лишь бы Софья с нами осталась, – Ариадна шарик серебряный взяла.

– К мужу! – Евдокия головой крутит. – Это б еще полбе-ды... А в подоле принесет?

– Так объяснить надо. По умному сделает – ничего и не будет, – Гликерия корзиночку отложила, за птичку взялась.

– Ты-то откуда знаешь?

– Так чего? Дело ведь нехитрое. Мне Соломон Захарыч все разъяснил.

– Ну?! – Евдокия руками всплеснула. – Давай-ка и нам разъясни.

Шепчутся, шепчутся. Ничего не разобрать.

– Да-а... Ну ты, Гликерия, и шлюха...

– А ты у нас, – бабушка Гликерия покраснелась, – жизнь прожила, а все гляжу – девка.

– Девка – не девка, а себя соблюдала. Родила, сколько бог послал.

– А я вот, может, и радуюсь, что нету у меня детей. Чего

на смерть рожать?

– Дура ты! – Евдокия аж притопнула. – Баба-то бездетная – пустоцвет.

– Ничего, – платок с головы сняла, волосы пригладила. – Господь, Он ведь все видит: внучку послал на старость. Правда, – оборачивается, – Софьюшка?

Правда. Как в сказке про Снегурочку... Она еще в небо улетела, когда с детьми чужими играла. Они в лесу собираются, песни свои поют. Про кораблик, про синие ночи. По радио всегда передают. А в яме костер горит, жар подымается. Снегурочка тоже сперва боялась: не буду, думает, прыгать. А пионеры кричат: прыгай, прыгай! Она и прыгнула...

Евдокия стул подолом обмела.

– Может, – говорит, – и твоя правда. Рожаем, а не знаем, как им потом пропадать...

За стол села, бумажки перекладывает. И монеток целая горка. Которые помельче – серебряные, а другие, побольше – рыжие. Это такая пенсия. Почтальонка приносит. Сама большая, ноги у нее толстые, и сумка через плечо. Приходит и сразу в комнату. Везде наследит, а бабушки ее не ругают.

Евдокия сидит, прикидывает:

– Не привыкну к новым-то деньгам. Обещались, будто не

потеряем. А теперь гляжу: раньше рублей пятнадцать за елку платили, а этот год – два. Если старыми, вроде пять рублей переплачиваем. Вот я и думаю: то ли я дура непонятная, то ли они шибко умные – мимо рта не пронесут...

– Хлебушек-то ничего, – Гликерия вступается, – слава богу, не вырос. Как был рубль сорок, так и есть. Четырнадцать копеек по новому.

– Ну поглядим еще, – кошелек закрывает, – как оно дальше пойдет.

* * *

Молоко в перерыв выдали. Бутылку взяла и – в раздевалку. Как раз мимо гальваники. Заглянула, будто бы случайно. Вспомнила его: невзрачный такой. Тоже меня заметил. «Ну и ладно, – думаю, – мне-то чего... Заглянула и заглянула: за погляд денег не берут»...

Молоко в сумку спрятала. Сегодня можно, Федосьевна на проходной. Она баба хорошая: по сумкам у нас не шарит. Другие чуть не ощупывают. Выносить-то нельзя. Сами, велют, пейте. Кто бездетные или замужние – сами и пьют. Раньше тоже пила, а последнее время воротит. Прямо тошнит от этого молока...

За проходную вышла, гляжу: догоняет. «Как, – спрашивает, – дела?» – «Дела, – говорю, – все при мне – сами собой не переделаются». – «А чего ж неприветная такая, раз дела

твои при тебе?» – «Да устала чего-то, – отвечаю. – После смены, так прямо сил никаких». – «Так, – смеется, – значит, отдохнуть пора. В кино-то любишь ходить?» – «В кино, – говорю, – я уж находилась». А сама думаю: на всю жизнь.

«Зря ты, – пеняет, – Антонина. Я к тебе не как-нибудь, по-хорошему». – «Ну, – говорю, – прощай покуда. Мне в Гостиный».

На троллейбус села, а в окошко гляжу: вон он стоит. Рукой мне машет. Не то чтобы, думаю, невзрачный: улыбнется – вроде и ничего себе.

По Невскому еду, а сама все думаю: уж покупать, так чего поярче. Или, может, цветами... Вон Надька Казанкина летом-то явилась – цветы крупные, оранжевые. Рукой проведешь: чистый шелк. Штапель, еще хвастала. И по подолу – кайма. Господи, вспомнила, мне же одинаковой наказали: Гликерия в цветах не наденет.

Штапель, конечно, дороже. Надьку сегодня видела, да постеснялась спросить. Совсем на смех подымет: бабе под тридцать, а туда же – в штапели наряжаться. Потом-то отговорюсь как-нибудь: мать, совру, подарила. Не откажешься от материна подарка.

Да вон же он висит! Подойти, думаю, прицениться.

Гляжу, женщина нарядная, с продавщицей разговаривают:

– Если на платье, тогда, конечно, «Аврору». Лучше ничего нету – чистая шерсть. Дорого, но и сносу не будет. Сто

лет пронесите, а все как новое. На платья ее, на юбки берут, мужчинам на костюмы.

Мимо прошла, на цену глянула – аж в глазах потемнело: двадцать шесть рублей. Неужто, думаю, новыми?

А женщина нарядная кивает:

– Пожалуй, темно-зеленой возьму. Два с половиной метра.

Продавщица улыбается, будто себе на платье выбрала. Принесла, пустила по прилавку. Материя-то огнем горит, светится прямо. Ну и пусть, думаю... А я штапеля куплю.

– Все, – ко мне повернулась, – вывешено. – Плечиком показала: – Выбирайте. Вам, – оглядела меня, – нарядное или на каждый день?

«Нарядное, – думаю, – нарядное».

– Нет, – отвечаю, – на каждый день.

Приблизилась, а штапель этот: три двадцать. «И пусть, – не решаюсь пока. – Гликерии не стану признаваться, а разницу сама доложу». Стою – глаза разбегаются: вроде все нарядные.

– Мне, – указываю, – на два платья режьте. Вон в этот цветочек.

Домой вернулась.

– Ну, – Гликерия торопит, – разворачивай.

Развернула, по кровати раскинула: цветочки маленькие, маки. Пестрят по синему полю. Гликерия как увидела – за

сердце взялась:

– Ох, – вздыхает, – красота неопиcуемая – хоть сейчас помирай. Завтра же, – обещает, – начну. Мерки только снимем. А ты вот чего...

– Чего, – удивилась, – пуговиц, что ли, купить?

– Нет, – головой качает, – есть у меня пуговицы. Завтра машинку достану, мигом сошью.

– Может, – засомневалась, – нехорошо одинаковые...
Вроде как из детского дома.

– Батюшки, – на меня машет. – Да неужто я носить стану? Это ты носи.

– Зачем же шить, если носить не будете?

– А как же, – говорит, – в старье? В старье, небось, не предстанешь. Вот сошью, в шкафчик к себе запрячу. Пусть пока полежит. У меня уж все приготовлено: и подушечка, и подзор.

«Господи, – думаю, – как же я платье это надену? Молчала бы уж лучше... А то будто и мне – в гроб. Знать бы, разной материи купила. Ох, – вспомнила. – Она ж и передничек собиралась, Сюзанночке, из лоскутков. Ну уж нет! Я-то еще ладно, а ребенка – не дам. Сошьет – на помойку выкину или – еще лучше – спалю. Будто и не было. Нечего ей ходить в гробовом».

– Я ведь чего хотела... – стоит, не уходит. – Жизнь наша,

она ведь по-всякому складывается. Пока молодая. Мало ли, кто-нибудь понравится или ты ему. В жизни всяко бывает, а головы не теряй. Одну, бог даст, мы уж вырастим, а более не в силах. Вот и слушай: мало ли, до чего у вас дойдет, а ты уксусу загодя купи или аспирину. В воде раствори. Возьми клочок ваты – ниткой перемотай да в воду эту и окуни. Вату-то заранее пихнешь, а нитка длинная – наружу высовывается. Вот кончится у вас, а ты помни: минутку-другую подожди да и вытягивай наружу. Поняла ли? – спрашивает.

Я глаза опустила. Киваю: «Поняла».

Стою, а сама думаю: «Батюшки, стыд-то какой... Кто ж это все выдумывает? Неужто и другие пользуются? Нет, – думаю, – не может этого быть...»

На кухню вышла, а самой глаз не поднять.

– Вы, – говорю, – молоко-то перелейте.

Сюзанночка за столом сидит, сырок свой разворачивает. Любит эти – творожные.

Евдокия обернулась:

– Возня с этими бутылками. И страху натерпишься, пока через проходную-то. Взяла бы хоть, что ли, грелку. Пробкой закрутила, пихнула под платье – и иди свободно. В блокаду вон, рассказывали, одна на хлебзаводе работала, так теста под груди налепит и идет. Охрана по бокам прохлопает, а под грудь не догадывались. Обоих детей спасла.

– Так, – сомневаюсь, – резиной завоняется, разве станете пить?

– Ничего, – рукой машет, – не बारे. Прокипятим, и выдохнется. На кашу-то и сгодится, а ребенку магазинного купишь.

* * *

Баня далеко, на Фонарном переулке. Зимой лед, сугробы страшные – старухам не дойти... Так-то ничего: и раковина тут, и плита. Газом прогреем, на плите ведра кипят. Снизу бадейка с холодной. Грязную в раковину сливаю, тоже удобно. А в бане устаю. Пока всех перемоешь – ни жива ни мертва сделаешься. Дома всяко лучше...

Ведра греться поставила.

– Готовьтесь, – говорю. – А я постельное поменяю.

Раз в две недели меняем – не настираешься чаще.

Гликерия пошла, посмотрела:

– Пододеяльник вроде не грязный. Ты наволочку мне только смени да простынь.

Стелить стала, прямо как ожгло. Разговор-то она завела... Неужто прознали бабки? Нет же ничего...

Бабушка Евдокия зовет:

– Иди, голубок, голову расчешем, а то после бани высохнут – одни колтуны. В воскресенье-то в театр – не забыла.

Бабушка Ариадна отвечает:

– Конечно, помнит. Про принцессу Аврору. Поваренок помнишь какой! Так и заснул у плиты...

Мама чистое белье несет:

– Принцесса... А я и не поняла сперва: в Гостином шерсть продают – тоже «Аврора». Прямо, говорят, сносу нет. На сто лет обещают...

Грязное белье собрала, ушла.

Бабушка Евдокия гребенку отложила – прядки разбирает.

– Ишь, – ворчит, – на сто лет, значит... На век цельный рассчитывают. Ладно, поглядим... Царское-то разворуют, а дальше чего делать?.. Ну, что вертись? Смирно стой, не вертись!

В кухне жара – белый пар от ведер. Конфорки горят. Лампа под потолком желтая – еле видно. Качается на шнуре. По потолку тени, как крылья. Окна темные, потные, змейки по стеклам.

– Ну давай, – мама ковшик взяла, воду в ведре шевелит. Плеснула на плиту – она и шипит, как змея... – Вперед голову над тазом. Ох, – жалуется, – волосы какие густые – в одной воде не промыть. Вырастешь, гляди, береги – отхватить-то недолго. Вон девки у нас в цеху – все поотрезали, завивку модную наворотили: перманент. Раз сделаешь, другой, а потом и полезут клочьями. В коротких-то ничего нету – ни памяти, ни силы. Раньше ведь как говорили: короткий волос – короткая память. А зачем тебе короткая? У тебя до-олгая будет...

Окатила, в корыто поставила, мочалкой мыльной трет.

Бабушка Евдокия заглядывает:

– Ох, и натопила! Ну, скоро у вас? Я уж все приготовила – одевать.

– А мы и заканчиваем... Разок ополоснемся – и будет с нас. Эх, с гуся вода, а с Сюзанночки худоба! – подхватила, на табуретку поставила. Полотенцем вытирает, дышит часто. – Вот вам девочка чистенькая – принимайте.

Ковшиком корыто вычерпала, ополоснула.

– Ну, решайтесь, которая первая.

Евдокия говорит:

– Одену, уложу – потом уж. Пусть Гликерия сперва.

Пришла, разделась. Худая, все ребра наружу. Над тазом склонилась, титьки тряпочками висят. Глядеть страшно, прямо как смерть. Сколько лет мою, а все не привыкну. Мать-то, покойница, жилистая была. Городские эти – будто выболевшие.

Голову подняла.

– Чего, – спрашивает, – смотришь? Сама такая будешь, как время придет. Так-то день за днем, они и тянутся вроде. Обернешься – вон же она стоит, смерть. Всякий день Господа молю, пусть бы прибрал в одночасье...

– Кушать, – утешаю, – вам надо. Что ж вы такое: все чай да чай...

– Да я, – дышит тяжело, – кушаю, только тело уже не принимает. Зажилась, видно, на свете – девочка одна и держит.

Бабушка Евдокия кровать распахнула.

– Ложись, – говорит, – пока. Из театра в воскресенье вернешься, а там и Новый год. Наступит, глядь, а у нас уж все готово. Мать пирогов обещала. Мучки новой получим, напекет. Пирожки мягкие, сами в рот прыгают. А за ним и другой праздник – Рождество... А дальше и весна близко – жаворонков станем печь. Напекем, в церковь с тобой сходим: надо и нищих угостить. Не все, как мы, счастливые, чтобы умереть в спокойе. Таких-то мало...

В церковь пойдем, а эти, с ножищами каменными, на встречу: идут, смеются. «Вон, – пустыми пальцами тыкают, – нищенка, а была – принцесса. Мы, – хвастают, – все у нее украли». А бабушка ее пожалеет, жаворонка даст...

– Я-то, – бабушка Евдокия жалуется, – грешница. Многих возненавидела. Вот Он и держит меня, не пускает помереть. Дождается, видно, пока сердце мое отмякнет, будто какой сухарь. На тот свет-то надо размякши, а как, – говорит, – забудешь? Душа-то, небось, не тело: мылом не отмыть...

– Ты, Тонечка, – Ариадна просит, – спину мне потри хорошенько, а то самой не достать.

«Господи, – думаю, – спина у ней, видно, чешется – совсем нежная кожа».

– Вы, – говорю, – Ариадна Кузьминишна, сами не расчесывайте – вон следы от ногтей...

Вытерлась, голову полотенцем завертела – к себе пошла.
Евдокия заходит:

– Проветрить тут надо. – Носом повела: – Грязью шибко пахнет. Страсть не люблю эту вонь...

– Как же, – спрашиваю, – откроем? Вмиг с улицы выстудит. Кашель еще подхватите – на улице-то мороз.

– Ладно, – рукой махнула, – так помоюсь. Я уж сама потру, ты только слей.

Разделась. Вроде и в теле, да, гляжу, ослабла совсем. Прошлый год крепче была. Сливаю, спрашиваю:

– Как же вы в больнице терпели, если грязью человеческой брезгаете? Больные-то сильнее воняют.

– Да там, – отвечает, – холодно. На холоде и вонь слабже...

Всех намыла, в комнату пошла, прилегла на кровать. «Вот платье-то будет, может, и я в театр схожу. Сколько лет в городе живу, а ведь так ни разу и не бывала».

Сюзанночка не ворохнется. Намылась, крепко спит.

* * *

– Вот, гляди, – бабушка Гликерия мешочек подает, – тут тебе и сахарок, и булочки кусочек. Проголодаешься, скушай, только смотри, потихоньку, чтобы другим не мешать. А мало ли бабушка Аглая чего предложит, так ты откажись. Кто их знает, какая у них еда, в этих театрах...

Шапочка мягонькая. Рейтузы розовые из-под пальто. Бабушка Евдокия говорит:

– Отведу и вернусь.

– Вы уж не спутайте, – мама боится. – Прошлый раз в конторе давали, теперь – в подвал пойдем.

Двери высокие, деревянные... Зашли, а бабушка Аглая поджидает.

– Ну, – приглашает, – идем со мной, я тебя на лучшие места посажу – как принцессу.

Коридор длинный.

– Пошли, – за руку ведет, – в директорскую ложу попробуем. Только сходим за сцену. С ведущей договориться.

По лесенке поднялись.

– Осторожно, – говорит, – чтобы не споткнуться.

Голову подняла, а наверху веревки толстые: шевелятся, будто змеи... И дядька страшный навстречу. Борода рыжая, растрепанная...

– Это, – объясняет, – артист. Много их тут ходит.

Гляжу, стена мимо ползет. Артисты эти ухватились: кричат, тянут.

Бабушка Аглая говорит:

– Это у них декорация. Видишь, деревья нарисованы и дом большой. Вот заснут все, а лес этот и поднимется. Все кругом зарастет – сама увидишь...

Женщина в уголке сидит, в платок закуталась.

– Вот, Александра Дмитриевна, – бабушка Аглая в спину меня подталкивает. – Внучка моя. Двоюродная. Позвольте в директорскую ложу...

На меня поглядела:

– Хорошая девочка... Первый раз в театре?

Бабушка Аглая к ней склоняется, шепчет, шепчет, на горло свое показывает. Болит у нее, верно.

Женщина в книжку заглянула.

– Боже мой... – Головкой качает. – Конечно, сажайте, Аглая Михайловна. Утром никого не ждем...

Комнатка маленькая, стулья красные стоят, между ними столик. На столике коробка нарядная.

– Возьми конфетку, – бабушка Аглая угощает. – Да не стесняйся. Очень вкусный шоколад. Вчера за гостями закрывала – одну попробовала. Прямо тает во рту...

Конфету в рот сунула – разжевала. Сладко во рту. Наружу выглянула, а там огни горят. Люстра на потолке, будто елка. И стены такие высокие... А балконы совсем золотые, прямо до потолка. Всюду люди. Сидят, бумажками белыми обмахиваются...

Свет гаснет, гаснет... Занавес движется, дрожит...

Девочку маленькую вынесли, кладут в колыбельку. Феи нежные, прозрачные. Платья у них как перышки, а за спиной – крылья. Танцуют, крыльшками трепещут... А музы-

ка вокруг темная. Вон же она... колдунья... Вороны Вороновичи везут, карету перед собой толкают. Ручищи у них когтистые. А она из кареты вылезла – прыгает, грозит...

В подвал спустились. Народу как сельдей в бочке. Тетка сквозь очередь пробивается – номера на руках пишет. «Мне, – говорю, – на обеих пишите – у нас запаздывает одна». – «Видали, запаздывает у них... Вовремя приходить надо: так-то все себе понапишут...»

Стены низкие. Окошки фанерой заколочены. Душно – не продохнуть. Впереди ребенок заплакал. Ариадна платок сняла – испарину со лба стирает. «Часа три, – шепчет, – простоим»...

Голова у меня болит, будто гвозди в нее заколачивают. Голоса громкие, никак не уймутся...

«Да как я приведу – он у меня лежащий!» – «А вы бы справку заранее – из поликлиники. Дескать, не встает. Я вот взяла. Обещали по справке». – «Мы на 6-й Советской жили – там-то знали нас, выдавали безо всяких...» – «Мало ли что – на Советской...» – «В конторе, там хоть свободнее – совсем задохнемся». – «А к ноябрьским на улице стояли – замерзли». – «Теперь вот спаримся – в такой-то духоте».

Вперед поглядела: головы одни. И сзади совсем напирают. Обернулась, Евдокия к нам пробивается – платок совсем сбившись. «Ну как? – спрашиваю. – Не плакала?» – «Чего ж ей, – едва дышит, – плакать... С охотой пошла»...

К столу приблизились – тетка пальцем тычет, считает. «Четверо? – переспрашивает. – Пятеро же по книге. Ребенок еще прописан. Болеет, что ли?» Ариадна кивает: «Болеет». – «А справка у вас есть? Без справки и не надейтесь, не выдам». – «Какая ж справка, – Евдокия вступает, – воскресенье сегодня. Врач-то не ходит». – «Ходит – не ходит... Чай, не помирает у вас. Закутали бы да привели». – «А это уж, – Евдокия говорит, – наше дело. Ты свое знай – выдавай».

«Ишь, болеет она...»

Соседка нижняя – сзади нас.

«Видела, – говорит, – сегодня. Вон, – на Евдокию пальцем указывает, – девчонку-то вела. Врут, врут... Изоврались все. И чего врать-то?» – «А ты, – Евдокия к ней оборачивается, – рот-то свой засмольчи. Тебя, небось, не спросили». – «Вида-али, – так и вскинется, – сука, блядь, рот мой, вишь, не нравится! На себя погляди да на выблядков своих: им-то рты поганные позабили, гляди, и до тебя доберутся! Под корень вас, под корень – под нож!» – «А ты, – Евдокия чернеет, – на целый век изготовилась – вроде тебе-то не помирать...» – «Я-то помру-у, да дети-внуки останутся, а твои в могиле гниют. Ну? Где они? Нетути...» – Пальцы выпростала, вертит...

Пакеты бумажные, большие. В две сумки нагрестила – так сподручнее. На улицу выходим – у Евдокии губы синие: стоит, воздух ловит. «Тошно, – жалуется, – голову сжимает, и ноги не свои...» – «Господи, – говорю, – Евдокия Тимофеев-

на, на всякую дуру мучиться... Главное, муку? взяли». Стоит, за трубу держится – черная совсем...

Музыка слабая, бежит ручейком. Занавес подняли. Хорошо на том свете. Выходят, на паперти у себя рассаживаются. Конфет шоколадных накушались и рады. Неужто и этот с ними? Ох, жду, сейчас на санках своих приедет...

Да вон же он, голубь. Высокий, синий. А руки у него – крылья. Перьями все покрылись. Он как прыгнет! Значит, и ноги отрастают. Только клюва пока нету... А зачем им клювы? Руки-то тоже отрасли...

Гости танцуют, кружатся... Платья на них шелковые, алмазами убранные. По краям камня сверкают. Принцесса меж ними ходит – улыбается. Про жизнь свою прошлую не помнит. Проснулась и забыла...

II. Дочь

Я старалась вспомнить, но память упиралась в глухую стену: ворота, грязно-белая лошадь, темный деревянный гроб. Платья я тоже не запомнила, но у бабушки Гликерии было такое же, вот мне и кажется, будто я помню.

А еще я боялась, что не стану настоящим художником. Так говорила Лариса Евгеньевна: настоящий художник должен помнить самое раннее детство.

Тогда я бы все рисовала по-другому, а так меня всегда ругали: за нарушенную перспективу, за то, что не добиваюсь портретного сходства, за неясность замысла. Лариса Евгеньевна учила, что замысел должен быть четким и ясным, чтобы ни у кого не возникло вопросов, особенно у приемной комиссии. К ее замечаниям я прислушивалась: верила, что она желает мне добра. В сущности, так и было. Она учила меня художественным приемам, правила конкурсные работы – я очень страдала, но не решалась возразить. Разве я могла сказать, что ее правка все портит, нарушает самое главное, ведь она была моей учительницей. Если бы не Лариса Евгеньевна, мне не удалось бы поступить.

Никакая комиссия не признала бы работы, в которой нарушена перспектива, как будто мир поделен надвое: верх и низ. Однажды, когда во Дворце готовили выставку, я попыталась объяснить, что вижу линию, которая идет от края до

края – по самой середине листа. То, что внизу, должно оставаться мелким: для этого и нужна перспектива, чтобы оно уходило вдаль. Но там, наверху, все поворачивается, подступает ближе, чтобы мы видели, как оно всплывает обратно – из глубины. Если нарисовать по правилам, так, как полагается, все важное станет плоским – уйдет в землю.

Лариса Евгеньевна выслушала, а потом позвонила бабушкам, и бабушка Евдокия меня ругала: зачем болтаю глупости, возьмут и свезут на Пряжку. Сперва я ей не поверила, но потом бабушка Ариадна рассказала, что Лариса опасается нервного расстройства и, если это в ближайшее время не прекратится, советует показать меня психиатру, иначе им самим придется вмешаться.

После того случая я молчала, рисовала правильные картинки, с которыми и поступила в Мухинское училище.

Потом я еще долго боялась, так что настоящие работы появились позже, когда я стала выставляться на квартирных выставках. Там они уже никого не удивляли.

В те времена многие увлеклись иконописью, спорили о каноне, о ликах, о небесной дуге. Изучали старые приемы, пытались понять, почему художник использует ту или иную краску: киноварь, золотистую охру или разбеленный краплак... Оказывается, это тоже определялось канонами: я помню, как рассказывал Гриша, – мне до сих пор нравятся его ранние работы. Он искал ракурс, отображающий картину мира – такой же точный, как у византийцев, которые виде-

ли вселенную как храм. Жаль, что потом он увлекся инсталляцией, но тогда мы обо всем разговаривали, и я пыталась объяснить, почему канон не имеет отношения к моей жизни – мне трудно следовать традициям, в которых нет ничего личного: своей памяти...

Гриша возражал, говорил, что я преувеличиваю значение личного, и это мешает делу.

Я старалась изучить древние традиции, но они казались мне мертвыми, пока я не увидела одну египетскую картинку. Женщина на берегу ручья. Эта картинка меня поразила, ведь обычно египетские художники изображали батальные сцены, всесильных фараонов. Их специально рисовали огромными, а остальных маленькими, чтобы у зрителя складывалось впечатление, будто они распоряжаются своими подданными: их жизнью и смертью.

А тут – просто женщина на коленях: ползет по берегу ручья. Сначала я подумала, что она тоже жена фараона: сверху была надпись иероглифами – я не могла прочесть. А потом нашла перевод. Душа усопшей пьет воду в потустороннем мире. Я все время о ней думала, когда готовила к выставке свою первую работу. Нарочно сделала ее черно-белой. Грише моя работа понравилась, он даже придумал мне прозвище: Ручеек. Я еще решила, что из-за фамилии, но он сказал, что фамилия – не главное. Ему просто понравилась женщина, написанная в египетской традиции: по их канону фигура и лицо изображались в боковом ракурсе, а глаза смотрели

вперед... Как будто жили сами по себе, независимо от тела. Гриша говорил, что я нашла точный образ.

А однажды к нам пришел Алеша Рубашкин, совершенно бледный, и сказал, будто слышал своими ушами: москвичей, которых давили бульдозером, собираются посадить. Конечно, не сразу, а тихой сапой, а потом Гриша выпил лишнего и стал кричать, что ему осточертели старые большевички? и большевички, когда ж эта чертовщина кончится?..

Не знаю, что мне пришло в голову, наверное, я хотела его утешить и вдруг сказала, что обязательно кончится, правда, не скоро, а через семь лет... Алеша обрадовался, принялся считать на пальцах: получилось в восемьдесят третьем. А Гриша стал мрачный и говорит: «Нет, Сюзон... *Оно* никогда не кончится», – и вскоре уехал в Америку. А через много лет мы встретились на выставке, и оказалось, он помнит ту давнишнюю историю: «Надо же, и ошиблась-то на пару лет... Признайся, Ручеек, откуда ты знала?..»

Конечно, это была шутка: откуда мне было знать? Гриша и раньше меня ругал, говорил, что в нашей стране нельзя не интересоваться политикой, а я отвечала, что ему просто повезло с родителями, они не боялись рассказывать, а мои бабушки молчали. Даже друг с другом ни о чем *таком* не разговаривали: только о домашних делах.

Гриша звал меня с собой, говорил, что я талантливая художница, а здесь мой талант зачахнет, но я не решилась. Мне очень хотелось с ним уехать, но что-то удерживало: мне ка-

залось, если уеду, так и не узнаю правды. Почему у меня не было отца? Как случилось, что они расстались и мама вышла замуж за отчима? Ведь здесь же нет никакой политики, но бабушки все равно молчали.

Конечно, я могла спросить Николая Никифоровича, но как-то не решилась. Думала, все равно не знает правды, а если и знает, не расскажет. Не говоря уж о Зинаиде Ивановне: у нее каждое слово – ложь. Разве я не помню, как она кричала бабушкам, что это мама женила на себе Николая, а бабушки, старые ведьмы, еще и колдовали, только ничего бы у них не вышло, если бы не хитрый еврей... Вмешался и все придумал.

Какой еврей? Откуда она взяла эти сказки? У бабушек вообще никого не было: ни знакомых, ни родных...

III. Мать

«В некотором царстве, не в нашем государстве жил-был царь Иван Васильевич, у него был большой сын Василий-царевич, а второй был сын Димитрий-царевич. Вот вырос старший, так надо его женить. Ну, нашли наконец невесту хорошую, работающую, да только успели повенчать, он наутро и исчез. Приходит Димитрий-царевич к отцу и говорит: “Благослови меня, отец родной. Поеду на поиски брата”. Тот, делать нечего, – благословил.

Оседлал коня да в путь и отправился. День едет, другой едет – одна степь. Снегом голым покрытая. Подъезжает, глядь, а там шатер: сам белый, и вокруг белым-бело – раскинули среди снега. А в шатре Василий-царевич, брат его родный – спит-поспит мертвым сном. Вот Димитрий-царевич и думает: “Убью-ка я его сонного, а все добро да невесту его хорошую себе и заберу”. Сказано – сделано: убил он, значит, своего брата, косточки его закопал да обратно направился. Только пальчик ему напоследок отрубил...»

Мама в уголке сидит, прислушивается.

– Господи, – говорит, – какая страшная сказка. На ночь бы, может, и не надо...

Бабушка Евдокия губы поджала:

– Страшная – не страшная... Какая уж есть. Других-то не

знаю. Что мне сказывали, то и я говорю... Ладно, – поднялась, – засыпай покуда...

Только уснула, опять приходит.

– Вставай, – зовет.

На кухню повела – прямо в рубашке.

– Садись вон, – говорит, – покушай. Пирогов гляди сколько – вкусные.

Сами за столом сидят.

Бабушка Гликерия рюмочку подняла:

– Пусть этот год счастливый будет.

Бабушка Ариадна тоже желает:

– Только бы войны не было...

А бабушка Евдокия за ней подхватывает:

– Лишь бы никто не болел...

Мама веселая. За столом сидит, про злую фею не помнит...

Бабушка Евдокия руками всплеснула:

– Что ж ты, глупая, плачешь? Праздник сегодня – радоваться надо.

Бабушка Гликерия говорит:

– Так разбудили зря. Спала бы себе тихонечко... Пойдем, голубка моя, я тебя в кроватку уложу.

А карета черная едет, Вороном запряженная. Колдунья из кареты выходит: «Без меня вздумали обойтись? Вот я вам! Ужо! Припасла подарочек»...

Проснулась, а нет никого. Только светло уже. Босиком побежала – глядь под елку. Схватила, обратно бегу.

Мама в кровати лежит, улыбается.

– Это, – объясняет, – такая квартирка: все в ней имеется – и комнатки, и кухня, и люди. Только вырезать надо, да склеить. Ты, – говорит, – ноженки маленькие возьмешь, сама все вырежешь: и стены, и кровати, и столик. Там ведь семья целая. Полистай-ка в конце. Только примерься сперва, чтобы не испортить.

Мама, папа, девочка у них маленькая. А бабушек нету. Потому что это – другая девочка. Папа с мамой у нее умерли, а бабушки со мной живут...

* * *

– Ишь, – Гликерия тоже пришла, удивляется, – и правда квартирка.

– В Гостином-то все брали – вот я и взяла. Телевизор, – вспомнила, – обещали. После праздников. В рассрочку буду выплачивать.

Евдокия нахмурилась, глядит исподлобья.

– Кто ж это, – спрашивает, – обещал?

«Вот, – думаю, – ворона! Чует будто...»

– Как это – кто? – сама будто смеюсь. – Дед Мороз, ко-

нечно...

Тридцать первого выхожу – догоняет. «Я, – говорит, – вот чего... Очередь моя подошла – на телевизор. Весной еще встал. Думал, вдруг комнату дадут... Надеялся, еще к ноябрьским. А они: „Подождать, – говорят, – надо. Семейным нужнее...“ Может, ты возьмешь. Я заплачу? а ты отдашь постепенно. Куда мне с ним в общежитие... Твоя очередь дойдет, тогда уж – я... – Сам-то радуется. – И доставить помогу, и провод кину».

Нет уж, думаю, не хватало еще... Старухи и так зыркают. Сама на саночках доставлю. С электриками договорюсь – сделают за бутылку.

«Ну, – говорит, – как знаешь – я бы так, без бутылки».

Знаем, думаю, эти ваши *таки*...

Пужинали. В кухне прибралась, бельишко замочила. Тоже ложиться пора. Сюзанночка-то уснула. К столику ее подошла. Надо же, почти что все склеила – втроем живут. А комнат сколько – и зала у них, и спальня, и для девочки – тоже своя. Где ж они работают, чтобы столько давали? Этот, не иначе, начальник... Сам молодой – когда и успел? Такие-то хоромы разве директору либо главному инженеру. Мастеру, небось, не положены. Мебель, гляжу, не доделала – пока на полу спят. Ничего, были бы стены... Сытинскую жену вспомнила. Господи, ведь и не представить: сама себе хозяйка. И вправду, как в раю...

Легла, а самой не спится. «Мужик-то и скромный вроде, непьющий. А ну как прав Михалыч – замуж позовет?.. Не век же, – думаю, – одной мучиться. – Лицо его представила: доброе, хорошее, а не по себе. – Ничего, – себя уговариваю, – главное, из наших: не городской. Поди, пойми их...»

Глаза закрыла, а сердце так и заходится. Мужика опять вижу, того, с бородой. На стенке у него висел... Душно мне! Я ведь сколько ходила, найти его надеялась. Да разве вспомнишь дом-то... В городе дома большие, одинаковые. Не то что в деревне...

Одеяло сбросила. Внутри никак не уймется. На кухню пошла – воды попить.

Налила, к столу села. Клеенка холодная... Руки-то горят. Полегчало будто. Сижу, думаю: «Материально тоже лучше: мужики не в пример бабам зарабатывают. Совсем другие расценки». Вроде сама себя уламываю. Потом-то спохватилась: «Сам-то, может, ни сном ни духом. Ох, – решила, – вот позовет – посмотрим...»

Лежу, а не сплю вроде. Только понять не могу. Будто в деревне я, за околицей.

А дорогу не помню, вроде и нет дороги. Снег. Все белым-бело. Назад обернулась следы свои найти. Нету: ни своих, ни чужих. Огляделась деревню поискать – может, дымки? над крышами. Гляжу: ни крыш, ни дымков. «Как же, – думаю, – я-то сюда пришла?» Стою, на себя дивлюсь – испу-

гаться бы, да нет, не страшно...

Только время какое-то неясное: и снег пока не сыпет, и видать далеко. Только сумрачно – ни утро, ни вечер. Идти, а ноги тяжелые – никак не переставлю. Вижу: дымок впереди – вьется столбиком. С силами собралась – пошла. Ближе подхожу – узнала место. Это ж землянка наша, на краю леса. С войны еще осталась. Детьми часто от дождя прятались. Бревна у ней погнивши – скрипят. «Кто ж это, – гадаю, – в землянке поселился да огонь жгет?»

Голову пригнула, заглядываю. А вместо пола – земля прибитая. Голик старый в углу. На полу костерок разложен. Хозяин у костра, ко мне спиной – поленья подкладывает, руки над огнем согреть.

Голос тусклый, хриплый, вроде простуженный. Слышу – знакомый, а не узнать. Пусть бы, гадаю, обернулся. Может, из наших кто, из деревенских. Соседских мужиков сколько в войну пропало, да и раньше – перед войной. Намерзся в лесу, вот голос-то и сел... Тулуп на нем вроде военного, только драный очень – клоками. Медведь, что ли, помял? Вроде не было у нас медведей...

Голову поворачивает. Глянула – дыхнуть не могу: будто медведь этот – когтем. Сам-то мне кивает: «Ну, – говорит, – отвечай, с чем пожаловала? Вольную просить? Так я, – хрипит, – не держу». Ответить-то ему хочу, да голоса нету, пропал, будто онемела. Костерок горит, играет язычками. Тени по бревнам, вроде крыльев. Справилась с собой: «Дочь у

тебя растет, а ты вон где, в лесу – партизанишь. Война-то когда окончилась – пора на белый свет». Голову клонит, не глядит...

«Что ж ты, – жалуюсь, – так и не объявился ни разу – за столько-то лет? Вроде пропал без вести...» Губами шевелит, а голоса не слышу – на руки его гляжу. Себя не помню – будто когтем кривым поворачивается: лицом припасть. Сам-то усмехается: догадался. Руки подняла, шагнула навстречу.

Рот у него дернулся, будто плетью ожгло. И глаза странные: ни живые, ни мертвые. «Платье, – смеется, – у тебя штапельное – надо обновить». Гляжу – и впрямь новое на мне. Маки по синему полю. «Когда ж, – думаю, – успела Гликерия? Вроде только раскроила...»

Пальцами пуговицы нащупала – сжимаю у горла, сама обмерла вся – что ж это будет? В землянке же нет ничего – ни укусу, ни аспирина... Отодвинулась, головой мотаю, а коготь-то в сердце ноет: лишь бы не ушел.

«Чего, – озлился, глаза тусклые, – не хочешь, чтобы дочь наша на свет народилась?» – «Да как же, – говорю, – не хочу – родилась ведь уже. Эту-то не знаешь, как вырастить...» – «Нет, – хмурится, – тот раз не в счет». А может, и впрямь, думаю... Вдруг и не было ничего, раз я-то здесь – в деревне?

Ноги слабые. На нары села. «Ты погоди, – говорю. Как же, думаю, не было, если я все помню? – Что ж ты, – спрашиваю, – дочь свою признать не желаешь? Кровь родную».

Оскалился черт, опять смеется. «Кровь, – говорит, – в

землю ушла. На крови родства не построишь». – «А как же, – удивляюсь, – иначе, если девка на тебя похожая. Только ты-то говорил больно ладно, а она молчит. Раньше, – жалуюсь, – надеялась, а теперь – все. Видно, так и маяться ей – немой. Ты-то уж, – говорю, – не знаю, где обретаешься, только узнал бы там, может, можно помочь? Другие-то детей своих рбстят, телевизоры покупают: вон какая очередь...»

От костра жар, голова дымом плывет. Сам-то придвинулся. «Не бойся, не бойся, – ворчит. – Помогу, все для тебя сделаю, что прикажешь...»

Тяжко мне, не встать, не вырваться, будто медведь навалился – шерстью паленой. Ни сил нету, ни воли. Бормочет, бормочет, вроде просит чего. Крикнуть, да голос канул. Ближе, ближе – чую медвежью плоть... Запах сладкий, острый, будто гвоздь каленый. Цепляюсь, цепляюсь, рву в клочки. Костер горит, стонет, занимается... жарко мне, жарко... крикнула, как обмерла...

Глаза открыла – темно кругом. Вроде и нет огня, только тлеет все: вспыхнет, плывет искрами. Пальцами шарю – шерсть медвежья: липкая, мокрая... Одеяло скинула, села.

Сердце бьется. Рубашка кругом завернулась – не встать. Насилу ноги выпростала. Губы сухие, колкие. С полу холодом несет.

«Что ж это было? – думаю. – И правда, как в раю... – Жену Сытинскую вспомнила. – Господи, неужто и она – про *это*?»

Бабушка Гликерия заходит:

– Хватит тебе клеить. Отвлекись. Ну-ка, пошли со мною – машинку швейную достанем. Строчить на машинке научишься, что угодно сошьешь: и платье, и передничек. Вырастешь, ох, пригодится. В магазинах не больно напоешься. Дорого, небось...

На столе платье изрезанное. Лоскутки по полу валяются.

– Вот, – бабушка объясняет, – я уж раскроила.

С полу подняла, на бабушку глянула.

– Ничего, – разрешает. – Лоскутки-то, которые мельенькие, бери. Их уж в дело непустишь. А ты соберешь, на булавку наколешь. Только смотри с булавкой-то. Пальчик не уколоть... Вот, – объясняет, – тут у нас шов боковой, а это – спинка. Сначала выкройку из бумаги сделать, потом уж кроить. Вот мы вытачки застрочим и – под утюг. Утюжок – наш первый помощник, без него и не берись за шитье...

Машинка черная, лаковая, узор на ней красный – по спинке. Снизу иголка воткнута. Бабушка ручку крутит: машинка стрекочет, клюет.

– Ну, – нитку обрезала. – Садись, сама попробуешь... Чего это? Не хочешь, что ли? Неслух ты какой-то... Вот, – гонит, – и иди к себе. Играй в свое бумажное царство».

Обрезки достала – вынула булавку. Маму с кухни взяла – на листок положила. Обвела, будто выкройка. Подол широкий, колокольчиком, на плечах квадратики бумажные – чтобы платье не упало. Вырезала. Теперь – по лоскуткам надо. Рисовать стала, а карандаш за маки цепляет: ежятся, ежятся, будто ветер на них дует. Догадалась: приклеить же надо. А потом вырезать...

Мама красивая, платью с маками радуется. Сладким кле-ем пахнет. Побежала в кухню – показать.

– Ишь ты, – бабушка Евдокия восхищается. – Пряма-стерская у нее... Вот и я лоскутков-то найду – всех своих принарядишь: и девочку, и дядьку этого...

Опять все перепутали. Он же – отец.

– Мастерница! – бабушка Гликерия не сердится, на палец плюет. Утюг шипит, злится... – Я-то приступила едва, а она глядь – и закончила. Все у ней готово. Ну, беги, наряжай.

Нарядила. Губами шевелю. Ну и пусть не слышно. Они же у меня мертвые – все, небось, слышат.

Жили-были отец с матерью, и не было у них бабушек, а была только девочка маленькая. Та, что в зеркале. Другая. Жили они хорошо и счастливо. Мать с отцом умоются, причешутся и на работу идут, а девочке наказывают: ты, говорят, лоскутков подбери, платьев разных сделай, чтобы всем как следует нарядиться. Вот они с работы возвраща-

ются, а у ней уже все готово – и костюмчики, и пальто, и платья...

В прихожей шум какой-то. Выглянула, а бабушка Евдокия машет:

– Сиди, сиди, неча тебе выглядывать. Телевизор привезли. Наладят, включают – тогда уж...

Коробка большущая, сто комнат в ней поместится. Мама с дядькой чужим тащат – схватили с двух сторон. Мама палец во рту сосет. «Ну, – дядька чужой спрашивает, – куда его нести?» – «А туда вон», – рукой показывает. Значит, к бабушке Евдокии...

Вот они домой придут, переоденутся и кушать садятся. Стол у них большой, там, на том свете, – стоит посреди комнаты. А на столе тарелки, блюда всякие. Суп в кастрюльке. Сковородка с картошкой. И готовить совсем не надо. Все бумажное у них, вырезанное: кушай сколько хочешь.

Ой, спохватилась. Суп-то они не кушают. Зачем им – суп? У них конфеты шоколадные – в красной коробке. Коробка не простая, волшебная: берешь из нее, кушаешь, а все равно полным-полно.

Вот пообедают они, чаю напьются и идут. Только руки забудут вымыть. А на улице фея злая дожидается, караулит. Как увидит руки их шоколадные, разозлится, клюкой

в землю тычет – извести грозит. «Чего, – шипит, – конфетами вкусными угощаетесь, когда другие суп едят?.. Вот я вас заколдую!»

Заплакал отец, заплакала мать, а девочка их утешает: не плачьте, отец с матерью. Ничего она вам не сделает. Только наколетесь булавкой и уснете – на сто лет. А потом проснетесь, оглянетесь, а злой колдуньи и нету... И никто про нее не помнит, будто и не было совсем. Только комнатки ваши целые – никуда не делись. И девочка ваша. Сидит, дожидается. Снова все заживете...

Булавку взяла, руки им наколола. Кроватка у них широкая – обоих уложила. Вот они лежат, а глаза не закрывают: видно, не хотят спать...

В прихожей ходят, разговаривают. Слов не разобрать, только мама веселая.

Дверь раскрыла – зовет:

– Поди, чего покажу... Такого-то еще не видывала...

Прибежала, гляжу: домик. Впереди окошко стеклянное.

– Ну, – мама говорит, – гляди.

Кнопку нажала – ждет...

Окошко темное. Вдруг огонек вспыхнул, будто искра. Шире, шире... А из домика – музыка. Как же это? Лебеди рядом стоят, крыльями взмахивают...

– Боже мой! – Ариадна руками всплеснула, прижала к груди. – Это же «Лебединое озеро»... Балет...

Платья у них перистые, а на головках – уборы. Стоят, шевелятся. Целая стая. А впереди лебедь белая. Бьется, бьется, сейчас взлетит...

– Поздно, – мама шепчет. – Может, сперва поужинаем, а перед сном еще посмотрим?

– Пусть уж, – бабушка Евдокия застывает, – до конца посидит. Гляди, губы-то как побелели. Будто чудо увидела... Теперь не оторвешь.

– Ну пусть, – мама кивает. – Я в первый раз тоже обомлела. У нас в общежитии стоял. С линзой еще толстой. Через нее плохо видно. Так-то – лучше.

– Что ж это они, – Гликерия глаз не отводит, – балеты все больше показывают?

– Да нет, – отвечает, – разное. По вечерам новости. Комendantша все включала. Ну придешь когда, послушаешь. Только скушно больно. Сидят, читают попеременно. Концерты еще случаются. Бывало, поют хорошо...

Музыка дрожит, движется, в голове сладко...

Женщина нарядная является: «Мы передавали сцены из балета Петра Ильича Чайковского “Лебединое озеро”».

– Ну, – мама встала, – картошка, небось, разварилась. Кончилась передача.

На кнопку нажала: ежится, ежится, искорка одна.

Темно в окошке. Вот она – кнопка... Нажать, опять вспыхнет... Руку отдернула – боязно. На цыпочки встала,

зажмурила глаза. Снова будто музыку слышу. Как же хорошо у них... Умрут и превращаются: кто в голубков, кто в лебедей...

* * *

Посуду мою: нет, видно, обиделся. Утром подходит: «Так чего, повезем сегодня?» – «Да я, – отвечаю, – с Сергеичем с нашим все сделала. Он и довести помог, и подключить».

Весь день работала, а сердце не на месте. И чего человека обидела? Он-то с доброй душой. Сделал да пошел бы, и ска-тертью дорога. В крайности, объяснить можно: «Так, мол, и так, бабки старые – гостей не жалуют. Считаться приходится, раз семьей живем». Ничего, думаю. Обида – не кость, сглот-нется...

Стол вытерла, села, а сама опомниться не могу. Это ж на-до... Телевизор ведь купили. В деревне-то с лучиной быва-ло, а тут – кому рассказать... Не удержалась, девкам в цеху похвастала. «Как же так? – спрашивают. – Недавно записы-валась». Растерялась. «Из сборочного, – выдумала, – поме-нялись: у ней с деньгами плоховато». Надька-ехидна и тут встряла: «А ты, не иначе, разбогатела? Денег девать некуда?» – «Материны, – отвечаю. – Мать пенсию откладывала».

Похвастала, а сама жалею. И чего распустила язык? Лад-но, небось, не украла. Я ж не себе – для ребенка.

Таз с гвоздя сняла – вспомнила: Михалыч, мастер наш,

рассказывал, будто машинку придумали – белье стирать. Вроде читал он: «Грязное положишь, она и вертится. Глядь, а все чисто». Девки смеются: «Как это вертится? Она что ж – избушка на курьих ножках?»...

А я вот подумала: мало ли?.. Вон Гагарина запустили. Машинку-то – не в космос. Попроще, небось...

На политинформации как объясняли: «Каждый сколько он хочет работает – хоть смену, хоть полсмены. Отработают и в магазины идут. А там – благодать: всего полно. И денег не надо. Деньги тоже отменяют – бери сколько пожелаешь». Надька и тут не удержалась: «Как это – сколько пожелаешь? Что ж это будет-то? В один день расхватают. Вон я, к примеру, десять платьев зараз возьму, а еще и туфли... Да не просто так, а, например, чешские. Или венгерские еще. А чего? – девкам подмигивает. – Не имею права?» – «Ты-то, – Михалыч на нее разозлился, – к тому времени сознательная станешь». – «Созна-ательная... – смеется. – Не сознательная, а старая – через двадцать-то лет. Мне ж тогда сорок пять стукнет – зачем мне туфли? Тогда мне и бурки сгодятся. А молодые? Или как? – На девок оглядывается. – Все, что ли, старые будут, при коммунизме?»

А я вот и думаю: с едой-то понятно. Сперва налетят, конечно: и рыбы захочется им, и конфет. Ну наедятся-напьются – больше-то не впихнешь... А потом за одеждой отправятся. Или, к примеру, за матерьялом. Штапель, небось, не станут: чистую шерсть подавай...

Раздеваюсь, слышу: стонет... Склонилась – нет, почудилось мне. Одеялко поправила. Красавица – прямо ангел небесный. И не скажешь, что ущербная. Господи, воля твоя...

Ох, радуюсь, и ручки-то сызмальства хорошие. Мать моя всегда говорила: хорошие руки сыздетства видать. Бывает, от горшка два вершка, а все у ней ладится, а бывает учат, учат: все одно – горшок мимо печки. Так и вырастет – ни с чем пирожок...

Гляжу, и куколок бумажных уложила. Лежат, спят...

Легла – а заснуть боюсь. Еще полежала, а вдруг и не он это, думаю? Прямо по́том меня прошибло: случаи всякие бывают. *Эти*, которые являются, даром-то не отстанут... Мать покойница рассказывала:

«В войну было. Жила у нас в деревне солдатка. Здоровая баба, крепкая, отродясь ничем не болела. Муж на фронте – она за двоих ломит: за мужика и за себя. Потом уж, война к концу, приходит ей похоронная. Ну погоревала-поплакала и снова за работу. Месяц-другой проходит, стали замечать за ней – лицом чернеет. Ну чернеет и чернеет. Другие-то тоже не румяные. А потом, глядят, и с тела стала спадать. Бабы и приступили: „В район надо – к фельдшеру. Пусть посмотрит: мало ли, порошков каких выпишет или травок“. Она их послушает, глянет эдак – усмехнется, а глаз-то плохой, шальной.

А у нее товарка. Вот бабы-то и к ней. «Повлияй, – говорят, – на Анну. Неладно с нею, детей сиротами оставит». Та и пошла. Завела про то, да про се. А баба будто и говорит: «Да пошли вы все. Это вас фельдшерам показывать. А я-то теперь только и зажила. Муж мой каждую ночь ко мне является. Любовь у нас. Раньше-то и ведать не ведала, как оно бывает...»

Товарка изумилась – другим пересказала. Вот они решили к попу обратиться. Тогда как раз церковь в районе открылась – до войны заколочена стояла. А сразу не уедешь. Выходных-то не было. Всякий день на работе. Ну колхозное убрали, потом свою картошку копать. Выкопали – поехали. Обе соседки. Батюшка-то старенький, сам едва жив. Как услышал про бабу эту: «Бес ее терзает. Вы, – советует, – в храм Божий приводите, я отчитаю. Только бесы, – пугает, – эти – самые сильные, которые любовный облик принимают. Бывает, с одного раза и не сдадутся. Имя им страшное, особое». Поп-то назвал, да бабы позабыли...

Вернулись, а тут и дожди пошли, бездорожье. Как поведешь? Ждать надо, когда дороги встанут. Пока дожидались, Анна эта возьми да помри. Обмывали, дивились: старуха старухой. Руки тонкие, ребра торчат, будто выболевши. Бес-то силы из нее вымотал – затерзал до смерти...»

Лежу, а внутри замирает... А вдруг и со мной так?.. Бес меня терзает. Глаза закрыла. «Он это, он, – думаю. – Серд-

це-то не обманешь...»

Снег белый – сугробами... Средь сугробов тропка вьется. Следы пропечатаны – будто от валенок. Время-то, различаю, предутреннее: вот-вот заря займется. По следам двинулась. «Это ж, – думаю, – давешние, мои...» На ноги поглядела: валенки. «Откуда? Я же в бурочках хожу...»

Дымок вьется. Только лес чужой – темный, на наш не похожий. Кругом забор частоколом. За ним вышка деревянная, как вроде при немце. В районе, говорили, стояла: немцы пленных наших держали – в загородке... «Ладно, – решаю, – ворота хоть найти». Огляделась – нету ворот. Вместо них землянка эта стоит: через нее и заходить.

Голову нагнула. Пол-то земляной, прежний, только лавки по краям. В два ряда сделаны, будто нары. И костра нету. Печурка вроде буржуйки. Колено в потолок вывели. Все равно чадит.

На нарах мужики расселись. Жарко у них. Дух-то тяжкий, дурманный. Сидят, играют – кости в черед выбрасывают, меня не видят. Присмотрелась: кости у них не игральные. Белые больно – вроде выварены совсем. Грудкой в углу сложены – пошарят, еще наберут. Напугалась, скрыться хочу, да ноги как вкопанные. К земле приросли.

Ну, думаю, делать нечего. Поклонилась им: «Здравствуйте». Игру свою бросили – оборачиваются. Мой-то тоже с ними, только не признается. И я, думаю, смолчу – мало ли...

Старшой у них – мужик колченогий. Борода разметанная, рыжая – чистый леший. «Заходи, – скалится, – раз пришла. Отвечай: с чем к нам пожаловала?»

Тут один, щупленький, а тоже с бородкой. К старшому суется. «Худо, – пеняет, – гостей встречаешь? Чай, не каждый день жалуют нас. Ты накорми, напои сперва, а потом уж выпрашивай». Другие, вижу, тоже поддерживают, головами кивают.

Вот они кости на пол сбросили, место освободили. «Садись, – приглашают. Водицы нашей испей, горбушкой закуси». Кружку железную придвинули, ломоть протягивают. Села на нары, хлеб ихний понюхала: поганный. С войны такого не пробовала – с лебедой. И вода тоже нехорошая, вроде болотная. «Чего, – говорит, – нос воротишь – или воняет наша пища?» – «Благодарствуйте, – отвечаю, – только сытая я, поужинала – как раз от стола». Старшой-то озлился: «Что ж ты, – моему выговаривает, – бабу свою не выучил, как к нам ходить? Ишь, нашим она брезгает! У себя, небось, всякий день мертвечину едят...»

Другие тоже осерчали. Ворочаются, ворчат, как медведи. Бороды свои чешут. Напугалась, горбушки лебедовой прикусила, воды отпила глоток. Гляжу, отошли... Сама тоже чувствую: как глотнула ихнего, осмелела. И дым вроде спал.

«Что это вы, – спрашиваю, – здесь поделяваете?» – «Мыто, – оскалились, – Богу молимся, а что ж еще!» – «А, – догадалась, – значит, вы и вправду мертвые?..» Спрашиваю, а

самой и не страшно: вроде дело обыкновенное – к мертвым в гости ходить. «А мы, – отвечают, – ни то ни другое». – «Как это так? Разве так бывает?» – «Так-то, – говорят, – и бывает – или сама не знаешь?» – «Откуда ж ей, – мой заступается, – она ведь оттуда, с воли...» Тут они как захохочут, себя по грудям хлопают, головами крутят: «С воли! – кричат. – Ну ты и скажешь – с воли!» Весело им.

Отдышались. Старшой и говорит: «С воли так с воли. Отвечай тогда, может, желаешь чего? Баба ты молодая, мы тоже, – мигает, – не перестарки. Глядишь, горю твоему и поможем...» На своего скосилась – молчит.

Ну духу-то набираюсь: «С тем я пришла, чтобы отец дочери помог – инвалид она бессловесный. Седьмой год скоро, а все молчком. Вам-то, – киваю, – хорошо, весело – в кости человеческие играете, а девка страдай».

Выслушали – сидят, думают. Бригадир губами пожевал: «А ты костями нас не попрекай. Чай, свои кости, не чужие...» А щупленький этот вертится, вертится, аж извернулся весь: «Не пойму я что-то. Разве другие-то ваши – разговорчивые? Все, которые разговорчивые, давно здесь, у нас...» Старшой тоже голову чешет: «Глупая ты баба! Счастья своего не понимаешь. Кабы нам-то немymi родиться, разве гнили б теперь?» – «Уж это, – говорю, – не знаю. Ваше дело – мужицкое. Может, вам и немymi бы сподручно, а девке замуж идти. Кто ее такую возьмет?»

Старшой-то хмурится: «Ну, – решает. – Последнее слово

– за отцом».

Мой поглядел: «Хорошо ли подумала? Вот дадим мы ей голос, только ведь и у нас – не *за так...*» Неужто, изумляюсь, денег просят? Зачем им – в лесу?

«На мне, – объясняю, – долг теперь. За телевизор. Выплачу, на вас работать стану: рассчитаюсь». Надо ж, думаю, с дочери долг ожидает, а еще – отец...

«А долго, – старшой вмешивается, – нынешний долг отдавать?» – «Долго, – говорю. – Может, полгода, а может статья, и год...» – «Это, – разъясняет, – недолго: в наших краях день за год... Но учти – и ты ведь заплатишь, и дочь твоя платить станет. Так что за обеих решай...»

Хорошо живут, думаю. У нас-то, бывает, год за день... Села, щеку подперла – снова дымом заволакивает. Труба у них, видно, забитая. И вонь по углам. Так и несет гнильем. Как бы, боюсь, не вывернуло... Снова тошнит-подступает. Эти-то молчком – ждут.

Взяла горбушку лебедовую, кусок откусила. Вроде опять полегчало – отошла дурнота. «Решилась я, – говорю. – Вы уж, батюшки, делайте как положено. А мы с дитём отработаем – не сомневайтесь...»

Старшой ладонью пристукнул: «Вот и ладно. Раз решилась, тяни руку. Да не так, – морщится, – не кверху. Не как у вас. Ты вперед ее вытягивай: палец тебе отрубим – в залог». Испугалась: «Как же я работать буду? С завода беспалую погонят». – «А ты молчи, не говори никому – сами не заметят.

Они ж слепые».

Гляжу, а он уж тесак достает. Большой, острющий... Руку-то вытянула, зажмурилась – он и полоснул. Больно мне, хоть на крик кричи... А терплю.

Мой-то палец этот взял, в тряпицу заворачивает. «Теперь, – объявляет, – мы с тобою повенчаны. Палец этот за место кольца. Дочь, – говорит, – тоже моя – теперь не брошу». Гляжу, а старшой ихний смеется. «И я, – обещает, – не брошу. Буду ей крестным»...

Боль-то сильнее, сильнее... Крикнула. Глаза открыла. Нет ничего. Только руку дергает. Нашарила выключатель. Вот оно... Это ж палец гноится. Вчера повредила, пока телевизор волокли. Глаза закрыла. Господи... Видно, сказок этих наслушалась. Ох, думаю, Евдокия...

С силами собралась. Вставать надо. Все одно не усну.

Только тут и сообразила: живой-то он хитро? говорил. И не поймешь сразу. А тут – как все разговаривает. Вроде как у нас, в деревне...

За окном черно – ни огонька, ни звездочки. Тошно мне, тошно... «Неспроста ведь, – думаю, – и палец этот, и сон»...

* * *

Погуляли, покушали. Софью уложили. Сели нитки мотать. Сидят, а сами-то в угол поглядывают. Будто медом намазано. Гликерия первой решилась:

– Может, лучше включить? А вдруг что важное покажут...

Евдокия дожидалась будто. Вмиг спицы сложила:

– Включай.

Зажглось. Люди в телевизоре маршируют, руками размахивают. Ариадна вгляделась:

– Боже мой! Смотрите, это ж физкультурники... Спортивный парад.

Музыка веселая, праздничная. Гликерия поглядела – удивляется:

– Февраль, зима на дворе. Какой им теперь парад?

Глазок бежит, движется. Шары воздушные пляшут. Портреты на древках, транспаранты. Люди радостные: кричат, смеются. Только слов не слышно – музыка, музыка, будто немые. Ариадна говорит:

– На праздник очень похоже. Кажется, Первое мая...

Гликерия глядит-приглядывается:

– Праздник-то, – соглашается, – праздник. Только кофты на них полосатые, помнишь, перед войной.

– Батюшки, – Евдокия замерла, – ты на тряпку, на тряпку-то глянь...

Парни веселые, здоровые – тащат на двух палках. Тряпка широкая. Палки цветами убраны. Посередке цифры написаны – «1941». Глазок-то выше, выше – скользнул над головами, будто вспорхнул.

Ариадна глаза закрыла:

– Помню. Мои тоже ходили. Младшего дома оставили –

втроем пошли, с институтом.

– Господи... – Гликерия осеклась, руки на груди сводит.
Ариадна сидит, впилась глазами.

Идут, смеются...

Женщина в кудельках является, на весь экран расположилась. Ариадна ее не слушает:

– Пойду лягу.

Головами кивают: и правильно, и полежи.

Ушла. Гликерия губами шевелит:

– На демонстрациях этих... Всех, что ли, снимали или кого по выбору?

Евдокия подумала:

– Подряд-то, небось, не снимешь... Это сколько ж их надо – с аппаратами? Не напасешься.

– А вдруг, – Гликерия шепчет, – напаслись?..

Евдокия догадалась, рот ладошкой прикрыла.

– Вот-вот, – Гликерия не уймется, – сняли и припрятали. Так и лежат у них. Этих-то теперь показали, а другой раз – других.

– Если в сорок первом, они же все, почитай, мертвые... Которые в блокаду, которых – на фронте... Когда ж они начали? Перед войной? Кино-то, – вспоминает, – и до войны снимали. Ох, – за стол взялась. – Тошно мне...

– Спрятали, – Гликерия опять шепчет, – с самой Гражданской спрятали. Хранилищ для них понастроили.

Ариадна входит.

– Нет, – глаза сухие, темные, – не могу. Как подумаю, что мои там идут. Живые...

Евдокия говорит:

– Сядь-ка.

Выслушала – молчит.

Гликерия морщится, морщится, сейчас заплачет.

Спицы не тенькают, и голос чей-то чужой. Встала, крадусь на цыпочках. Дядька бормочет – голос сильный, нехороший. Бабушек за ним не слышно... В щелочку заглянула: это же телевизор говорит...

– Как живые, – бабушка Гликерия радуется, – ни войн на них, ни болезней. Как смерть застала, так и остались – молодые, здоровые. Очереди своей дожидаются: в телевизор попасть.

– Глупости мелешь! – Бабушка Евдокия глазом сверкнула. – Все, мол, кругом одинаковые – на одних правах? Умерли, а все в одном месте: и грешники, и праведники... И очередь у них одна?

– Теперь-то – мертвые, – бабушка Гликерия печалится, – чего им промеж себя разбирать...

– Ну уж нет! – Встала, за спину держится. – На этом свете не разобрались – и концы в воду? Не будет этого. Господь-то все видит. Смерть – не война: грехи не спишет. Здесь не сподобил, значит – *там* ответ держать.

Палец черный, острый – в телевизор им тычет. Дядька этот совсем напугался – примолк.

Бабушка Евдокия на него поглядывает:

– Не верю я! Зачем им хранить? Это ж следы. Случись чего, против них же и обернется... Батюшки! Явилась. Босиком стоять. А ну, – грозит, – марш в кровать! Тоже, взяла моду...»

Побежала, юркнула – с головой укрылась. Слышу, шаркает. Приходит, села на край.

– Ты, – говорит, – всего-то не слушай. Взрослые эти разговоры. А услышишь – не всему верь. Люди-то разные... Облик человеческий – обманчивый. Случаются и хитрые как лисы, а то, бывает – вóроны. Вырастешь, сама научишься – породы ихние различать...

Ушла. Одеяло с головы скинула. Не пойму – чего говорили? В телевизоре все, что ли, мертвые? И дядька этот?..

* * *

Зоя Ивановна мимо идет. «Тебя, говорят, Беспалова, поздравить можно – с покупкой?» А у самой глаз острый, пристальный. Молчу. А сама думаю: Надька и донесла. Неймет-ся стерве.

«Купила, – отвечаю. Пусть дочь смотрит. Сами ж учили – в школу ей идти». – «Учить-то учила, только не пойму никак. С кем это ты очередью поменялась?» – «А чего, – спрашиваю, – нельзя?» – «Можно, – отвечает, – у нас все можно. Только вперед – в местком. Нас в известность поставь, в списках отметить. Очередь-то общая». – «Да я ж, – говорю, – не знала... И какая разница? Оба же стоим». – «Большая, – говорит, – разница. Во всем порядок нужен. Так-то каждый надумает местами меняться...»

К себе иду – вспомнила. Девкам-то что сказала: из сборочного. А фамилию спросят? К гальваникам пошла, заглядываю. Заметил. Махнула ему потихонечку. Дескать, разговор есть.

Выходит, руки ветошью обтирает. Рассказала, нахмурился сперва. А потом говорит: «Чего уж... Давай на меня показывай». А фамилию его не знаю: Николай и Николай... И спросить неловко: еще обидится.

Смена закончилась – к Михалычу подхожу. «Как, – спрашиваю, – фамилия у Николая, ну этого, с гальваники?» Смеется: «По фамилии мужа подбираешь? Хорошая у него фамилия: Ручейников. Ну как, – шуруется, – подходяще?»

Зоя Ивановна бумажки свои листает: «Вот он у меня, сборочный, в отдельной папке. Кто стоял, к майским получали». Ох, думаю, сучка эта Надька: во всех подробностях донесла. «Не пойму – все вроде взяли...» Еще бы, думаю: сборочный

– бере, не нам чета. Все им – в первую очередь. И расценки – с нашими не сравнить.

«Так с кем же ты, – спрашивает, – поменялась? На кого отмечать?» – «Я, – объясняю, – Зоя Иванна, девкам неправду сказала. Прямо и не знаю, как вышло. Сборочный – ни при чем. Мы с Ручейниковым Николаем, с гальваники. Он ведь одинокий, и комнаты у него нету. Сговорились: теперь я возьму, а он уж потом, к осени. К майским комнату дадут. Говорит, должны уж».

Молчит, бумажки терзает. «Интересно у вас с Ручейниковым выходит... Надо же, должны им... Вон у нас – семейные мыкаются, а им должны. Не нужен телевизор, так не вставал бы. Другие найдутся, которым нужнее». – «Так, – говорю, – теперь-то как? Обратно, что ли, везти?» – «Зачем же? – Задумалась. – Теперь уж все, деньги заплочены. Пользуйся покуда. Вот, – говорит, – и в списке у меня отмечено: Ручейников Н.Н.». – «Так вы, – прошу, – меня вместо него впишите, чтоб путаницы потом не вышло». – «Впишем, – обещает, – не будет путаницы. Все впишем, что полагается».

Листок отдельный взяла, чиркнула закорючку – сверху скрепкой пришила. На меня глядит: «Ты, Антонина, смотрю, баба ушлая, а глупая. Ладно, когда по молодости. А теперь, чай, не девка. Раз принесла в подоле, во второй раз примериваешься? Так и будешь безотцовщину плодить? Пользуетесь, что государство у нас доброе – и ясли, и сад, и все вам на тарелочке. Рожай не хочу – хоть под каждым

забором...»

«Что ж вы так, Зоя Ивановна? – а у самой руки дрожат. – Разве я кому-нибудь на шею? В две смены работаю, лишь бы ребенка обиходить. И в ясли всего ничего ходила – три месяца только, и в садик не ходит». – «Спасибо скажи, что мастер в две смены позволяет. И учти: в Америке таких, как ты, – поганой метлой. Там с такими матерями не цацкаются. Иди, – говорит, – и подумай. А то ведь поздно будет».

Вышла. В глазах темно. Только вьется чего-то. Снежинки будто, мелкие, золотенькие. До гальваники дошла – вызываю. «Ну, – спрашивает, – отметила?» – «Отметила, – говорю. – Только злится она – глазами так и стрижет». – «Ничего, – рукой махнул, – пострижет и перестанет. Подумаешь, очередью поменялись: грех какой! Я, – говорит, – уже заканчиваю. Подождешь?»

На площадь вышли. «Чего, – спрашивает, – смурная? Зою напугалась?» – «Не знаю... А не по себе чего-то... И внутри болит». – «Да брось ты, – утешает. – Зоя, небось, не зверь. Может, и забыла уже. Мало ли дел у них... Пошли, – зовет, – я тебя кофею угощу. Вон булочная. Там и кофе, и булки».

Столики высокие, а народу мало. «Ну, – предлагает, – выбирай». За стеклом булки разложены, пирожные. Растерялась: прямо и не знаю. «Сам-то, – спрашиваю, – какую будешь?» – «Я, – отвечает, – пирожные предпочитаю – трубочки эти, с кремом». Поглядела – двадцать две копейки.

Ишь, думаю, предпочитает. Хорошо им, одиноким – пирожные предпочитать. «Ну и я тогда». А сама думаю: попробовать хоть.

Кофе вкусное. Сладенькое. С тем не сравнить, с черным... Пирожное надкусила. Тоже вкусно. Вот, думаю, Сюзанночке бы снести. Она бы порадовалась. Мне ведь так, баловство... А чего, соображаю. Завернуть и – в сумку. Нет, теперь-то неловко. Сегодня сама уж съем. А завтра ей куплю...

«Чего, – говорит, – хмуришься: не нравится?»

«А правда это, что в Америке матерей с производства гонят, которые одинокие, без мужа?» – «Эва, куда, – изумляется, – тебе-то что? Слава богу, не в Америке живем...» – «Все-таки не верится как-то... Что ж они там – звери?» – «Не знаю, – говорит, – может, конечно, и не звери, но о трудящихся своих не заботятся. Квартиры вот точно не дают – сами у них покупают». – «Как это, – удивляюсь, – покупают? В магазине, что ли?» Плечами пожал: может, и в магазине.

Выходим. «Спасибо, – говорю, – за угощение. Пора мне». Он губы утирает: «И сколько ж, – спрашивает, – твоей дочке?» – «Шестой пошел». – «Это хорошо, – кивает, – значит, скоро в школу. Лицом-то в кого пошла?» – «Не знаю. Вроде бы в меня». – «Ты-то, – глядит, – из себя ничего, симпатичная. Я когда еще заметил». – «Да ну тебя! – смеюсь. – Может, по молодости и была...»

Вижу, в сторону смотрит.

«Отец-то ее где?»

Сердце так и екнуло. «Не знаю, может, уже и умер... А может, – шепчу, – сидит». Ляпнула и сама напугалась. Откуда взяла-то? Мало ли, что во сне...

«Это, – соглашается, – да... Вон, отец у меня. С войны пришел без ноги. Сначала – ничего, радовался, а потом запил. В райцентре дело было. Дверь они в лабаз взломали: водку шарили с мужиками. И взяли-то две бутылки. А участковый, падла, как раз мимо шел. Дружки-то – тю-тю! – сбегали. А ему куда, с костылем?.. Скрутил его участковый. Мать как узнала, побежала, в ноги ему кинулась: “Фронтоник, за водку уплотим...” Сидит, сучий потрох. “Пусть суд, – мол, – решает. – Глумился еще: – Ну и что, фронтовик? Закон для всех одинаковый. Так-то каждый воровать возьмется”. Сам, падла, войны и не нюхал – за юбками бабьими отсиделся. Отец мой – дурак: на себя вину взял... В суд привели, еще и подмигивал: “Ничего, пробьемся...” Дескать, гвардейцы...

Напоследок свидание дали. Мать и пошла. Возвращается, бабке рассказывает. Я-то, хоть малец, лежу – слушаю. “Сам, – говорит, – веселый. Давно таким не видела. Чем, говорит, в деревне пропадать, лучше уж там, в лагере. Отсижу – все дороги открыты: хошь куда поезжай...” Может, и твой так... Суд-то был?»

«Не знаю, – голову опустила, – может, и был, только меня не позвали – мы же с ним так, не расписаны». – «Значит, – сообщает, – и дитё незаконное?» – «Ага. Так родила». – «А

отчество у нее какое?» – «По нему записала: Григорьевной. Это-то разрешают». – «Николаевна, – подмигивает, – вроде не хуже?» Господи, думаю, чего это он? «Ладно, – говорит, – шучу. Это ничего, что незаконная. Теперь уж пусть растет. Лишь бы здоровая была...»

Ох, думаю, если бы... Сказать, что ли? Нет. Бабок вспомнила: молчи, наказывали. Смолчала.

«А что, – спрашиваю, – отец твой вернулся?» – «Вначале писал еще. Мать передачи все слала. Потом замолк. Ни слова от него. Думали, в лагере сгинул... Потом-то слух пошел, будто в райцентре видели. Может, и спутали. Мало ли безногих...»

Через мост иду – снова про Америку задумалась. Как же это – квартиры в магазине?.. Так-то каждый придет купить. Где ж они на всех напасутся? Тоже, верно, очередь...

На площадь вышла – ветер. Так и несет. Лицо ожгло. Варежкой сухой прикрылась. А если взаправду? Так-то представить... Прямо в жар меня бросило. «Вот, – шепчу, – и я бы купила». Дорого, небось... Ну и пусть, думаю. И комната своя, и кухня. На окне занавески льняные – в синюю полоску. И уборная своя: стены светлые, крашеные... Батюшки, тут-то сообразила: а Сюзанночку – с кем? В Америке ж ни садов, ни ясель. Хоть какие хоромы, а одну-то не оставишь. Нет уж, думаю, бог с ней – с отдельной. Пусть уж с бабками – как есть...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.